
Геннадий СЕДОВ

ТЕАТР НЕЗАБЫВАЕМОЙ ЗАСТОЙНОЙ ПОРЫ

Повесть

1

В дверь осторожно постучали, приоткрылась створка.

— Доброе утро! Все еще в постели? Как насчет пробежки?

Прилипала, как зовет его Лялька. Телевизионщик по имени Валера. Ехали вместе в автобусе из симферопольского аэропорта в Планерское. Москвич, что-то пишет. Записался в друзья, ходит по пятам, навязывает беседы на литературные темы.

— У меня в девять игра, — Цветков свесил ноги, сладко зевнул. — Разомнусь на корте.

— Опять с Дмитриевой?

— Да, с ней.

— Понятно, — телевизионщик попятился к выходу. — Приду посмотреть.

Лялька спала, уткнувшись лицом в спинку дивана. Цветков, подойдя, пощекотал у нее под мышкой, она убрала локоть, недовольно промычала. Присев на край дивана, он принялся щекотать ей пятки.

— Папка, перестань! — она лягнула его раз и другой в живот. — Дай поспать человеку!

— Скоро восемь!

— Ну и что, я на отдыхе!

В коридоре хлопали двери, слышались голоса: отдыхающие торопились на пляж. Пробежаться рысцей по влажному от росы галечнику, нырнуть перед завтраком в ледяную в этот час морскую купель, обменяться новостями.

Он подошел к окну, отодвинул шторы. Голубой простор моря до горизонта, мохнатое, невыспавшееся солнце над дальними сопками, нахмуренный, розовеющий в косях утренних лучах Карадаг.

Умывшись, он надел выстиранную накануне теннисную форму, залез в кеды, подпрыгнул раз и другой, пружиня подошвами. Порядок!

— На завтрак не опоздай, — бросил дочери, выходя за дверь.

Прошагал по коридору, вышел на крыльцо.

«Ага, — улыбнулся, направляясь к кортам. — Мы уже здесь...»

По аллеям жиденького литфондовского парка прогуливался Радунский. Джинсовые шорты со свисающей бахромой ниже колен, залихватски сдвинутая набок соло-

Геннадий Николаевич Седов родился в 1932 году в Узбекистане, в г. Ханка. Окончил Ташкентский госуниверситет. Работал очеркистом в молодежной газете, собственным корреспондентом газеты «Труд» по Узбекистану, заведовал отделом малой прозы в редакции литературного журнала «Звезда Востока». Автор двенадцати книг художественной и документальной прозы, лауреат Литературной премии Союза русскоязычных писателей Израиля.

менная шляпа, выдавшие виды сандалии. Шествовал между низкорослыми пожухлыми акациями, останавливался в задумчивости возле полуразрушенной, заколоченной досками дачи Максимилиана Волошина, которая, по-видимому, как-то стимулировала его мыслительный процесс.

«Лицедей, — думал Цветков, отворяя калиточку корта, на котором уже разминалась у стенки Аня. — Будет, по обыкновению, подглядывать за нашей игрой со стороны. Не может признаться в интересе к событию, в котором не присутствует сам, любимый. А ведь хочет наверняка играть в теннис, по лицу видать. Обежать вприпрыжку площадку, тронуть с видом профессионала сетку: хорошо ли натянута. Громить, к радости зрителей, большую часть которых составляли женщины, незадачливых партнеров. Сколько будет шума вокруг! Рукоплесканий! Радунский, Радунский! Как спокоен, мужествен, прекрасен! Какой душка!»

Он скрашивал Цветкову жизнь в то на редкость знойное коктейбельское лето. Сам он ничего не писал, не привез, подобно большинству обитателей одно- и двухкомнатных творческих конур, начатую рукопись — купался в заправленном медузами парном море, загорал, спал после обеда, играл в теннис, читал что-нибудь вслух перед сном Ляльке, думал об экзотической калмычке из угловой комнаты, с которой могло что-нибудь получиться.

Окружавшее его общество было обычным для этого времени года: периферийный пишущий народец с чадами и домочадцами, журнальные и издательские редакторы, московские парикмахерши, заполучившие по благу литфондовские путевки, газетная алкающая братия. Радунский среди этого пестрого провинциального базара был единственной знаменитостью: волею божьей драматург, умница, талант. Цветков был давним его почитателем, прочел все его пьесы, некоторые видел на сцене. Восхищался яркой театральностью его драм, языковым богатством, живостью диалогов. Он рос от вещи к вещи, смелел, становился глубже. Избегал вызывавших тоску в зрительных залах производственных сюжетов с героями в касках и рабочих робах, дискутировавших с митинговой страстью — получать незаконно заработанную премию или нет? Оказавшись с ним рядом в Доме творчества, видясь ежедневно, Цветков испытывал редкостное удовольствие от возможности наблюдать за ним со стороны, угадывать особенности его характера, привычки, слабости, постигать неотделимую от природы сочинительства человеческую его суть.

«Что у нас сегодня в репертуаре?» — спрашивал себя за завтраком в неумолчно гудевшем зале столовой. Проглатывал, морщась, очередную ложку пригоревшей рисовой каши с хрустевшими на зубах песчинками, смотрел с ожиданием на полуприкрытую портьерой входную дверь, в которой вот-вот должен был показаться его театральный кумир.

Радунский, по обыкновению, опаздывал. Продумывал, должно быть, между чистой зубной и бритвенной очередностью имидж, в котором намеревался предстать перед литфондовской публикой. К чести его, не повторялся, выдавал каждый раз что-нибудь новенькое. Накануне это была маска Пьеро. Печаль отвергнутого влюбленного, меланхолия, утрата жизненных ориентиров. Явился на ужин в ослепительно-белой сорочке с манжетами — бледный, томный, с погасшим взором. Шел сомнамбулически между столиками, не различая лиц, отрешенно отвечал на вопросы...

— Ассалям малейкум! — слышалось среди гула голосов.

Цветков привстал на стуле.

Раздвигая портьеру, словно это был театральный занавес, в зал шагнул — «браво, маэстро!» — Радунский в пестрой тубетейке поверх рыжей копны волос и в знакомых

сандалиях, которыми он ступал по ковру, забавно выбрасывая ступни, словно шествовал в козловых сапожках с серебряными шпорами где-нибудь среди анфилад дворца в Багдаде. Сегодня он пародировал Восток. Закатывал глаза, похохатывал, раскачиваясь на стуле в ответ на шутки собеседников, потирал сладострастно руки, приступая к трапезе. Черпал, постанывая, алюминиевой ложкой осточертевшую рисовую кашу синюшного цвета, словно вкушал золотистый плов на расписном блюде у себя во дворце, коверкал на восточный манер слова, говорил: «Моя твоя не понимай», «Нам, татаграм, все равно: что синаторий, что криматорий». Подмигнул официантке, разливавшей омерзительного вида ведерный кофе со стуженкой, воскликнул, хлебнув из стакана: «Половина сахар, половина мед!» Сохранил маску, явившись четверть часа спустя на писательский пляж в сопровождении стайки застенчиво лыбившихся, одетых в дешевые ситцевые купальники простолудинок из соседнего пансионата шахтеров Донбасса. Продемонстрировав девиц жарившимся на солнце под недремлющим оком законных супруг завистливым коллегам, пофланировав недолго в том же составе по короткой, как аппендикс, коктебельской набережной, отбыл с гаремом на прогулку вдоль побережья на палубе каботажного теплоходика «Новый Афон», грохотавшего разверстой пастью репродуктора всенародным шлягером «Миллион алых роз» в исполнении Аллы Пугачевой.

2

Мальчишкой Цветкову казалось, что мир сплошь состоит из притвор. Притворой был отец, инспектор горфинотдела в Калуге. Педант, аккуратист, ставившийся в пример начальством, ни разу не опоздавший на работу, председатель кассы взаимопомощи, вежливый, внимательный к окружающим. Дома был деспот, изводил упреками мать, не умевшую, по его словам, экономить копейку, вести хозяйство. К сыну и старшей дочери был равнодушен, понятия не имел, как они учатся, чем увлекаются. Садился вечерами после работы к радиоприемнику, крутил ручки, слушал сообщения об успехах сталинских пятилеток, рекордных выплавках чугуна и стали, добыче угля, надоях молока, урожаях зерновых. Произносил непонятную фразу: «Эх вы, дурашки». Тер глаза, уходил с горбившейся спиной в спальню.

Люди вокруг ходили с притворщицкими лицами. Пробегавший мимо их двери с кастрюлей на общую кухню кругленький общительный сосед Антон Иванович, работавший на центральном почтамте, оказался вредителем. Готовил, оказывается, по ночам динамит, чтобы подорвать электростанцию, был разоблачен органами НКВД. Чуть ли не каждую учебную четверть седьмой «А» класс под наблюдением классной руководительницы Веры Иосифовны замазывал чернилами в учебнике истории СССР фотографии знаменитых маршалов, на которых равнялись пионеры и комсомольцы: были, оказывается, замаскированными шпионами: один — английским, другой — японским, третий — ставленником американских империалистов. А назывались все советскими полководцами, героями Гражданской войны.

Страна срывала маски с притвор, показывала подлинное обличье врачей-убийц, безродных космополитов, безыдейных писателей и поэтов, художников-формалистов. Всенародно осуждала, требовала сурового наказания. Спивавшийся отец борготал, слушая по вечерам радио: «Ага, еще один попался! Дурашки!»

Жизнь учила Цветкова хладнокровной сдержанности. Студентом Казанского университета, пережив эвакуацию, голодную страшную зиму сорок первого года, похоронив отца, общаясь с людьми, спотыкаясь, выбираясь с синяками и шишками из житейских

тупиков, он усвоил для себя правила, которым следовал неукоснительно. Не выставлять напоказ чувств, не торопиться с выводами, думать. Быть ровным с окружающими, избегать запанибратства. Делал по утрам во дворе общежития зарядку с гантелями, мылся по пояс холодной водой из колонки. Увлёкся теннисом, участвовал во Всесоюзной студенческой универсиаде в Москве, дошел до полуфинала. Слыл среди сокурсников надежным, знающим себе цену парнем. Не слабаком, не выскочкой.

Он учился на четвертом курсе филфака, когда умер Сталин. Страна погрузилась во всенародную скорбь, по радио с утра до вечера звучали траурные мелодии. В день смерти вождя он с большим трудом добрался до университета. Шел пешком: городской транспорт не работал, улицы были перегорожены стоявшими вплотную троллейбусами и автобусами, милиционеры заворачивали назад шедших на работу людей — те лезли через заборы, ныряли в дворовые проходы, бежали под трели милицейских свистков вдоль тротуаров. По центральному проспекту двигались в сторону Казанского кремля с возвышавшейся на площади бронзовой фигурой Сталина людские колонны. Куда ни глянь — транспаранты, венки, бесчисленные портреты вождя в темно-золотых лентах, темные платки на головах женщин, обнаженные головы мужчин.

Он едва успел к началу университетского траурного митинга в актовом зале. Озирался по сторонам, с трудом нашел свободное место в верхних рядах. Вышедший первым к трибуне седовласый ректор Мартынов был не в силах говорить, останавливался, по-детски всхлипывал, вытирал платком глаза. В рядах слышались рыдания, какую-то студентку, упавшую в обморок, потащили по проходу ребята с повязками на руках.

Странное дело: он был спокоен, не испытывал никаких чувств. Словно сидел на собрании с рутинной повесткой дня. Думал с удивлением: «Неужели я до такой степени бездушный?» Было не по себе, казалось, что взгляды окружающих парней и девчат устремлены в его сторону. Обхватил голову руками, уткнулся в колени. Так и просидел до конца митинга...

На факультете он слыл театралом. Ходил по льготному абонементу в городской русский драмтеатр, не пропускал спектакли гастролеров. Театральные билеты стоили недорого, временами удавалось выклянчить контрамарку у сидевших за решетчатыми окошечками неприступных администраторов.

Поход в театр был событием сродни празднику, лекции не шли в голову. Отсидев последнюю пару, наскоро пообедав в студенческой столовке (борщ без мяса, котлеты с перловкой, компот), он торопился в общежитие — переодеться. Тщательно причесывался перед зеркалом, spryskival одеколоном волосы. Доставал из тумбочки свернутую бархотку, клал в задний карман — смахнуть на пороге театра пыль с начищенных накануне выходных туфель. В переполненном трамвае, прижатый к стенке возвращавшимся с работы понурым людом, безошибочно угадывал по верху голов театральную публику: по выходным костюмам, букетикам цветов в руках, театральным сумочкам и «шестимесячным» завивкам женщин, но, главное, по радостно-тревожным, просветленным лицам, какие бывают у людей в ожидании близкой радости.

— Бауманская, Драмтеатр Качалова! — слышался голос кондукторши. — Кому на выход, граждане, проходите вперед!

Работая локтями, он пробирался к дверям.

Театральные представления любил с детства. Охотно участвовал в детсадовских утренниках с бумажными гирляндами по стенам, со шитыми мамами и бабушками самодельными костюмами, с приглашенным музыкантом городского Дома культуры с красавцем аккордеоном на ремне. Исполнял роли Петушка-золотого гребешка, Конька-горбунка, гуся в игре-массовке («Гуси, гуси?» — «Га-га-га!» — «Есть хотите?» —

«Да-да-да!» — «Ну, летите!» — «Нам нельзя!» — «Почему?» — «Серый волк под горой не пускает нас домой!» — «Ну, летите как хотите!»).

Первоклассником, в Калуге, попал впервые на спектакль кукольного театра. Про правдивого Зайца, попавшего в лапы кровожадного Волка, который отпустил его под честное слово на один день проститься с семьей, чтобы потом съесть.

Происходившее у него на глазах в полутемном театрике с полусотней празднично одетых ребят потрясло его. Забыв обо всем на свете, смотрел, затаив дыхание, на освещенный цветным фонарем помостик с разрисованным задником и висевшими на ниточках облаками, где готовилось страшное и несправедливое. Отдал бы, не задумываясь, жизнь, чтобы помочь попавшему в беду Зайцу. Жена-Зайчиха, заячьи родственники убеждали того не возвращаться, говорили: глупо держать слово, если имеешь дело с кровожадным злодеем Волком. Дети в зале кричали, и он вместе с ними: «Не ходи, не ходи!» Но Заяц был непреклонен: слово есть слово, кому бы ты его ни дал. Уходя на смерть, у порога своей избушки с картонными деревцами во дворе пел печальную песенку: «Прощай, мой славный домик, ты верно мне служил, и здесь я жил и вырос, и здесь я счастлив был». Отворял калиточку в огород, вырывал морковку из грядки, продолжал (невозможно было слушать, душили слезы): «Прощай, моя морковка, ты сладкая такая, тебя на огорожке я вспомню, умирая».

Рассказал как-то выросшей Ляльке о первом своем театральном переживании. Предложил на спор, что прочтет наизусть слова песенки, которую исполнял кукольный заяц со сцены.

— Учти, мне было тогда семь лет.

— Семь лет? — колебалась она.

— Семь.

— Проспоришь, — предостерегла Ляльку разливавшая за столом чай Юлия. — Ты что, отца своего не знаешь? У него же память как у разведчика.

Лялька хлопнула его азартно по руке:

— Давай! На коробку мармелада!

И проиграла, конечно.

3

Дома был свой театр. Мелодрама с элементами трагикомедии и фарса.

Персонажей поначалу было двое. Он и Она.

Он учился в аспирантуре, писал диссертацию, ее только что приняли на работу на должность институтского юрисконсульта. Зайдя однажды за подписью какой-то бумаги в приемную ректора, увидел у стола секретарши молодую женщину в цветастом шелковом платье. Она мельком на него глянула. Шатенка, красивые ноги, искрящиеся голубые глаза.

— Зайдите позже, Цветков, — произнесла, не поднимая головы от пишущей машинки, секретарша. — У Рустема Нуриевича люди из министерства.

Закрывая за собой дверь, он скосил взгляд: незнакомка смотрела в его сторону...

«Она явилась и зажгла», — отозвался на появление в коллективе Юлии Серегинной университетский сердцеед Должанский с кафедры фольклора народов СССР. Через секретаршу ректора Фиму Давыдовну он разузнал кое-что о новенькой. Окончила год назад юридический, не замужем, живет где-то в Заречье с матерью.

В университете новая юрисконсультша бывала редко: бегала, утрясая юридические вопросы, по каким-то учреждениям, участвовала в судебных слушаниях. Появлялась ненадолго, юркала в директорскую приемную.

— Дикарочка... — поигрывал импортной зажигалкой Должанский у раскрытого окна курилки в окружении жадных до сплетен сослуживцев. — Пора приручить...

Думая много лет спустя, потеряв к тому времени интерес к жене, изменяя ей, Цветков приходил к выводу, что причиной, толкнувшей его к Юлии, был в первую очередь Должанский. Желание щелкнуть Стаса по носу: смотри, красавчик, женщин завоевывают не джинсами «Ливайс» из комиссионки.

Должанского он презирал. Не унизился бы соперничеством за очередное смазливое личико. Донял бахвальством:

— Терпение, ребята! Нет крепостей, которые бы не взяли большевики!

«Должанский взял курс на Серегину», — гуляло по университетским коридорам. Заключались пари, сколько продержится новенькая. Неделю? Две?

Он в ту пору встречался с младшей редакторшей республиканского издательства, где вышел научный сборник с первой его статьей. Несложные отношения, никаких обязательств. Утоляли три раза в неделю в его комнате на шестом этаже аспирантского общежития телесные потребности, пили кофе. Ася смотрела на часы, говорила озабоченно: «Извини, мне пора». Была замужем за водителем троллейбуса, у которого часто менялись смены — мог освободиться в неподходящий момент.

Ножку Должанскому он подставил под впечатлением минуты. Столкнулся с Серegiной на лестнице, выходя из библиотеки (подбирал материал для будущей диссертации, копался в первоисточниках). Коротко поздоровались, она спускалась впереди, помахивая сумочкой. Миг, и исчезла бы в коридоре.

— Серегина! — прокричал ей в спину.

Она обернулась.

«Все, поехали. Отступать некуда».

Шагнул через ступеньку-другую.

Она стояла, полуобернувшись, смотрела с недоумением.

— Вы джаз любите? — сказал первое, что пришло на ум.

— Джаз? Не знаю...

Сквозь пудру на лице у нее проступил румянец.

— Про «шанхайцев» слышали?

Она покачала головой.

— Есть предложение... — план действий созрел, он успокоился. — Давайте послушаем ребят из бывшего джаз-банда Олега Лундстрема. Они сейчас играют в ресторане «Татарстан». Мороженое поедим.

Она переступила на каблучках.

— Как это у вас все быстро получается...

— А чего тянуть резину.

Посмотрел на часы.

— В семь жду вас у входа. Успеете?

Она поправила накладное плечико на платье:

— Успею.

Летний вечер в «Татарстане», проходной эпизод, как он думал, не обещавший серьезного продолжения, повернул вполне устраивавшую его холостяцкую жизнь в неожиданное русло.

Она пришла на свидание раньше него. Шагая от троллейбусной остановки через дорогу, он увидел у входа в ресторан знакомую фигурку. На ней было то же цветастое шелковое платье, в котором она приходила на работу и в котором он увидел ее впервые

в приемной ректора. Единственным дополнением к наряду был повязанный на шею голубой шарфик в мелкий горошек. Под цвет глаз.

— Вы такой нарядный, — окинула его взглядом.

Облачиться в единственный выходной коверкотовый костюм было с его стороны просчетом: выглядел он рядом с ней откровенным пижоном.

— Надо же вам как-то понравиться, — произнес в оправдание.

— Зачем... — передернула она плечами.

Шла впереди в полутемном вестибюле, нога за ногу в чулках телесного цвета. Глянула, проходя мимо, в напольное зеркало, поправила высоко взбитые волосы.

«Красивая, — подумалось, — с такой где угодно не стыдно показаться».

Они нашли свободный столик у окна с расплывшимся пятном на скатерти и неубранной посудой, уселись.

Вряд ли она бывала часто в ресторанах. Выглядела скованной, озиралась по сторонам. Сделала попытку помочь подошедшему с подносом официанту-татарину убрать остатки посуды, тот остановил ее с усмешкой.

Вернула, не глядя, протянутую карту меню:

— Выберите сами...

Готовясь к свиданию, он достал хранимую под стопкой белья в шкафу пачку перевязанных резинкой пятирублевков — гонорар за напечатанную статью в журнале. Пересчитал: сорок пять рублей, более чем достаточно.

— Селедочка «под шубой», — диктовал официанту. — Салат «оливье». Посоветуйте что-нибудь из мясного.

— Можно бифштекс, — сучая, произнес официант. — Котлеты по-киевски...

— Вот! Котлеты по-киевски... Как вам? — глянул на Юлию.

Она пожала плечами.

— Бутылка шампанского, — перечислял он...

— Есть розовое игристое... — официант строчил в блокноте. — Полусладкое.

— Давайте!

— Плитка шоколада, — продолжил за него официант. Скопил глаза на Юлию. — Кофе на десерт, фрукты...

— Замечательно!

— Кажется, собирались есть мороженое, — усмехнулась она, когда официант исчез. — И слушать джаз.

— Будет и джаз, и мороженое, — он ослабил галстучную удавку на шее. — Кстати, Юлия. Друзья зовут меня Алексей. Некоторые даже Леша.

Она залилась краской:

— Запомню.

... Вечер был в разгаре, ресторан переполнен, между столиками сновали с подносами официанты, летели под веселые возгласы в потолок пробки из-под шампанского. В полуприкрытую портьерой дверь, возле которой дежурил швейцар в форменной фуражке, высовывалась временами чья-нибудь голова из томившейся в коридоре очереди: казанцы жаждали приобщиться к поносимой с газетных страниц и по радио заокеанской музыке с ее томительной негой, сумасшедшими ритмами, сногшибательными исполнителями-кудесниками в переливавшихся серебряными нитями пиджаках, не игравшими, нет! — колдовавшими вместе и порознь на инструментах, напоминавших экзотических химер, страстно и нежно поющих, басыщих, хрипящих, дико хочущих, рыдающих, срывающихся в бездну, взмывающих ввысь под оглушительные

раскаты барабанов и медных тарелок ударника, рассыпающихся на фрагменты, вновь собирающихся, как в калейдоскопе разноцветными стеклышками, дразнящих слух ступенчатыми синкопами, уводящими бесконечно далеко от ведущей темы, откуда, казалось бы, нет возврата, и в этот миг бац — клавишное тремоло! бац — свингующий вскрик саксофона, тихий шелест щеток по бас-барабану, рвущая душу ария трубы! — мир вокруг разом преобразился, помолодевшая, в ослепительной аранжировке основная тема вернулась, и вас обожгло как ямайским ромом, закружило, унесло далеко-далеко, где шуршание морского прибоя, пение райских птиц, темнокожие нежные девушки под деревом манго...

Музыканты не торопились. Сидели, отыграв, в углу у расчехленных инструментов, пили пиво. Со столиков время от времени принимались хлопать.

— Эй, кончай прохлаждаться! Музыка давайте! — слышались голоса.

Первым полез на эстрадку грузный клавишник, следом потянулись остальные.

— «Сан-Луи блюз»! — кричали из зала. — «Чаттанугу-чу-чу»!

Джаз Цветкова не волновал. Подвигаться в подпитии с разгоряченной спутницей под грохот барабанов, зарядиться угарным весельем — пожалуй. Но не больше. То ли дело песни, считал, душевные, мелодичные. «Вечер на рейде», «В городском саду», «Третий должен уйти», любимейший «Случайный вальс», который мог слушать бесконечно («Будем дружить, петь и кружить, танцевать я совсем разучился и прошу вас меня извинить»)...

Джаз в Казань завезли эмигранты из Китая. Он заканчивал десятый класс, когда в голодном, не оправившемся от военных тягот городе поселилось полтора десятка музыкантов с семьями, игравших, по слухам, в шанхайских ресторанах тлетворную «музыку толстых», как назвал ее великий пролетарский писатель Максим Горький. Играть на новом месте тлетворную музыку приезжим запретили, для джазовых оркестров наступали тяжелые времена: вышло знаменитое партийное постановление 1948 года об опере «Великая дружба» композитора Мурадели, в которой, как писали газеты, звучали чуждые нормальной человеческой музыке, режущие слух джазовые интонации и ритмы. (В памяти сохранилась сатирическая подпись под снимком Большого театра в публикации журнала «Крокодил»: «Ишь, от страха обалдели, мчатся вскачь с фронтона, слыша опус Мурадели, кони Аполлона».)

В СССР набирала силу кампания по «выпрямлению саксофонов». Джазовых музыкантов шельмовали со страниц газет и по радио, закрывали дорогу к слушателям. Перестали выпускать выходявшие до этого миллионными тиражами патефонные пластинки с записями популярных джаз-бандов Александра Цфасмана и Леонида Утесова. На танцплощадках в домах культуры не танцевали больше фокстрот, танго и чарльстон — только «танцы медленного ритма»: вальс, польку, падекатр, падепатинер, падеграс. Как это бывает, страсти со временем поутихли, о Мурадели забыли, джаз мало-помалу стал возвращаться на эстраду, однако с опаской, не мозоля глаза, без прежнего запала, «под сурдинку» ...

...Ресторанные музыканты отыграли «Сан-Луи блюз», «Чаттанугу-чу-чу», венский вальс, полечку, сбацали с огоньком по оплаченной заявке гулявшей в углу блатной компании «Мурку», «На сопках Маньчжурии». Двигаясь в обнимку с Юлией в толпе танцующих, Цветков решил, что пора закругляться: продолжение вечера было в принципе предсказуемо. За столом она выпила два бокала шампанского, жадно ела, извинялась с нервной усмешкой: «Не успела пообедать... так вкусно все...» Пунцовая, с капельками пота на лбу, поднимала глаза от тарелки: испуг во взгляде, беспокойство. Танцевала она плохо: сбивалась с ритма, останавливалась, поправляла то и дело сползавшие подплечники под платьем. Он прижимал ее к себе, тянул пальцы

к крепеньким ягодицам, она вздрагивала всем телом, говорила волнуясь: «Пожалуйста, Леша, не надо!»

В мыслях у него было одно: довести ее как можно скорей до общежития.

4

Жениться на ней он не собирался. Был в угаре от первых дней близости, плохо соображал. Влекло ее тело, податливые мягкие губы, копна падавших на лицо пепельных волос, которые она забавно сдувала в минуты страсти.

В один из дней пригласила его к себе. Долго тряслись в разболтанном автобусе с продавленными сиденьями, переехали по деревянному мосту на ту сторону Казанки, сошли на песчаном пустыре, посреди которого торчала накренившаяся телефонная будка с оторванной дверцей.

— Здесь близко, — обронила, словно оправдываясь. — Пройти немного просекой.

Шли через березняк с чахлыми деревцами, поднялись на дамбу — внизу, в топкой низине, открылся поселок. Вросшие в землю мазанки с плоскими крышами, полуобвалившиеся заборы, палисаднички. Пробирались по захламленному переулку, он озирался. Шастали среди зарослей крапивы, клевали что-то в кучах мусора куры. Лежал в невысохшей дождевой луже, шурясь блаженно на солнышко, грязный как черт поросенок. Взбрехнула нехотя, лениво на крыльчке дома, поднявшись было и вновь опустившись на ступеньку, кудлатая собака.

— Вот моя деревня, — открыла она калитку.

Он шагнул вперед, остановился.

«Ну и дыра», — пронеслось в мыслях.

По периметру двора с маячившей на пригорке деревянной уборной стояли, прижавшись один к другому, причудливого вида «балки», как называло их по старинке местное население. Построенные самовольно бездомным людом жилища-конуры из найденных на свалках или украденных с лесопилок горбылей, досок, кусков фанеры, листов рубероида, металлического хлама. Обмазанные в несколько слоев глиной, аккуратно побеленные, с выведенными через окна коленцами печных труб, огороженные штакетником и живой изгородью. С заставленными курятниками карликовыми двориками, собачьими будками, разохшимися кадушками для солений, горшками и ведрами с огородной зеленью и цветами.

Об обитателях низины казанцы отзывались презрительно: тунеядцы, позорят звание жителей столицы автономной республики, где учился когда-то Владимир Ильич Ленин. Выросший без каких-либо разрешений поселок с населением в несколько тысяч человек, числившийся на исполкомовском балансе районом частных домовладений, был постоянной головной болью городского руководства. Существовал в нарушение всех государственных законов и постановлений, крал электричество с линий электропередач с помощью подвесных «кошек», сдавал без прописки углы приезжим, не платил за воду, захламлял мусорными отбросами берега Казанки.

— Мы здесь, Лешенька, люди случайные, — говорила за столом мать Юлии, подливая в его чашку из заварного чайничка. — Судьба забросила.

— Мама, — нервно теребила кружевную салфетку Юлия. — Давай о чем-нибудь другом. Алексею это неинтересно.

— Что значит неинтересно? — темнолицая, в круглых очках, Зинаида Николаевна, как назвалась она при знакомстве, взглядом искала у него понимания. — Леша для нас не посторонний человек.

Его, судя по всему, записали в родственники. В душный июльский вечер, в тесной мазанке, из всех углов которой смотрела на него стыдливо прятывшаяся нищета, услышал о вещах, знать о которых полагалось только самым близким людям.

Первое, что ему открыли: он спит с дочерью генерала, подло бросившего жену с маленькой дочкой ради фронтовой врачихи, с которой сошелся, лежа раненым, в госпитале.

— Ждали всю войну, Леша. Письма писали через день. Юлечка вкладывала всякий раз в конверт свои рисунки. С малиновым сердечком. «Любимому папочке на фронт. Возвращайся с победой!» Вернулся, подлец! Проститься. Подарков привез чемодан — ординарец тащил следом за ним из машины. Откупиться решил, а! Трофейными отрезами и мясной тушенкой! — глаза некогда привлекательной, судя по всему, рано увядшей женщины блестели за стеклами очков мстительным огнем. — Я его с лестницы спустила вместе с чертовым чемоданом! Вон, изменник!

Стучали на стене ходики, за окном догорал день. Он отхлебывал из чашки, слушал.

С исчезновением генерала жизнь матери и дочери пошла под откос. Из комендатуры военного городка, где они прожили без малого десять лет, пришло распоряжение: по случаю перевода генерала Серегина на новое место службы им надлежит освободить ведомственную квартиру. В семидневный срок.

— Иди на все четыре стороны...

Обеспеченные по меркам того времени, получавшие ежемесячно генеральский денежный аттестат, пользовавшиеся услугами военторга с недоступными простым смертным продуктами и промтоварами, они оказались в одночасье без средств к существованию, на улице.

Прожили какое-то время у школьной подружки Юлии, пока не посчастливилось купить на остатки сбережений у какого-то забулдыги полуразвалившийся балок на правобережье Казанки.

Никогда не работавшая генеральша лазила по крыше, латала прохудившееся покрытие из прогнивших кусков рубероида. Вспомнила уроки покойной матери, села за швейную машинку — брала на переделку приносимое соседями старье. Юлечка шла после уроков на базу горбыткомбината за оставшимися после войны, присылаемыми с военных складов парашютами. Сидели вечерами, напрягая зрение, за распоркой, цепляли кончиками ножниц из швов едва различимые нити, выкусывали, вытягивали сорванными ногтями, гладили штука за штукой чугуном утюгом. Плюнули на интеллигентские привычки, занялись по примеру большинства «нижних» незаконными заработками. Скупали у окрестных рыбаков улов, перепродавали на субботнем базаре с риском угодить за спекуляцию в каталажку. Брели временных постояльцев, прятались за сараями при появлении финансовых инспекторов.

— Говорят, «из грязи в князи», — Зинаида Николаевна снимала со стенки липкую бумагу с трепыхавшимися мухами, вешала свежую. — А у нас вышло наоборот...

Его изо всех сил подталкивали к законному браку.

— Юленькин жених, — представляла при встрече с соседями генеральша. — Ученый, занимается театром.

Соседи натянуто улыбались, тянули руки: «Будем знакомы», «Как вас по батюшке?», «Закурить не располагаете?»...

— Это какой же по счету жених? — осведомилась однажды чистившая в соседнем дворике курятник сисястая тетка в мужских штанах. — А энтот куда подевался? Из райздрави?

— Заткни рот, фашистка! — закричала в ее сторону генеральша. — В суд скоро пойдешь! За воровство!

— Это ты пойдешь под суд, Серегина, — сисястая тетка опиралась на метлу. — За клевету на члена партии!

Двор пребывал в состоянии незатихавших склок и разборок. Выясняли отношения, писали жалобы в редакции газет, депутатам Верховного Совета. Из-за неубранного мусора, подбитого мальчишками из рогатки цыпленка, оставленной у чужого порога свеженаваленной кучи.

Вражда генеральши с жившей по другую сторону штакетника Елизаветой Кувалдиной носила сложный, запутанный характер. Продавший им балок забулдыга предупредил при расчете: чертовой Кувалдихе ни в коем случае не доверять, держать ухо востро. Расширяет свой участок, прирезает тайком куски от территории соседей. Действует хитро, по ночам, застучать трудно. С... потрох, не баба!

Новички не верили поначалу: ну как можно воровать у соседей землю? Штакетники же между дворами, живая изгородь!

Оказалось: можно! Генеральша со временем стала замечать: узенький их извилистый дворик странным образом сужается. Шла как-то к выходу, остановилась: что за черт? Небольшой выступ возле калиточки в сторону соседки исчез, будто не было! Обследовала старательно пограничную полосу, обнаружила: разделявшие дворы несколько кустов живой изгороди и два горшка с геранью сместились в их сторону. Работа была проделана с дьявольской изощренностью: места перекопа прикрыты шматками дерна с пожухлой травой, присыпаны сухим песочком — комар носа не подточит.

Необходимо было действовать, остановить разбой! В одну из ночей генеральша и приглашенный за пол-литра сосед из крайнего балка Федор Недбайло устроились у окна кухонной выгородки. Кувалдину следовало схватить за руку в момент совершения преступления, обязательно при свидетеле. Иначе отвертится, обвинит в клевете — у нее повсюду знакомства, связи, свои люди, даже в райкоме партии, где она работала дворником и состояла на партийном учете.

Сидели в темноте, разговаривали вполголоса.

Где-то за полночь клевавшая носом генеральша уловила за окном промелькнувшую тень.

— Федор, — позвала.

Уронивший голову на кухонный столик Недбайло тяжело всхрапнул.

— Федор, проснитесь! — тормошила она его.

— А! Пожар! Где? — бормотал тот. — Заводи мотор!

Генеральша кинулась к двери, выскочила на крыльцо.

Представшая ее глазам картина не поддавалась описанию. В темноте бархатной ночи, под звездами, лазила на карачках среди живой изгороди с тяпкой в руках Елизавета Кувалдина в теплых рейтузах поверх сорочки. Подкапывала, пыхтя, землю, утирала рукавом лоб. Обернулась на скрип двери.

— Че не спишь, Серегина? — осведомилась буднично. Поднялась, охая, с колен. — Ленишься, соседка, землю перекапывать, изгородь поливать. Мне приходится, — повысила голос. — По ночам. С ревматизмом... Че ржешь-то? Большая, что ль?

Генеральша тряслась на крыльце в припадке нервного хохота...

Все это ему в конце концов надоело. Мотаться на край города в забитом людьми автобусе, шагать с гастрономовским тортиком в руках через загаженный куриным пометом двор под любопытными взглядами соседей, пить чай в заставленной рухля-

дью комнатенке с тикающими ходиками на стене, слушать бесконечные воспомина-ния генеральши, разглядывать в пухлом альбоме выцветшие семейные фотографии, убаживать на застланном лоскутным одеялом сундуке любовницу в отсутствие убежавшей якобы по неотложным делам мамыши. Новизна чувств прошла, постель больше не заслоняла женщину, с которой ему было откровенно скучно.

«Не поеду», — решил однажды. Лежал в папиросном дыму у себя в комнате, листал свежие конспекты по выбранной с научным руководителем теме будущей диссертации: «К вопросу зарождения русского драматического театра в Казани».

Материал был богатейший, впору докторскую писать. Завоеванная некогда Иваном Грозным столица татарских ханов была одним из театральных центров России: первый публичный театр для горожан в Казани открыл свои двери в 1791 году. Спектакли проходили в арендованном для этой цели помещении на Воскресенской улице. До той поры, пока помещик-театрал Есипов не построил в городе деревянные театральные хоромы, где играли его крепостные крестьяне и приглашенные бродячие актеры вольных трупп, руководимые знаменитым в ту пору драматургом и актером П. Плавильщиковым. К середине девятнадцатого века казанский губернский театр был сравним по уровню с лучшими петербургскими и московскими, здесь ставились самые модные тогда пьесы, в частности «Ревизор», в котором играл городничего великий Михаил Щепкин, приезжали на гастроли П. Мочалов, В. Живокини, А. Мартынов (последний в роли Хлестакова восхитил неистово хлопавшего ему с галерки студента местного университета Левушку Толстого). В библиотечном хранилище редких рукописей он обнаружил и переписал в тетрадь интереснейшие сведения о театральной истории города. Как строилось каменное здание городского театра, ставшего за короткое время одним из лучших в империи по оснащенности. Об антрепризе режиссера-педагога П. Медведева, воспитавшего на казанской сцене легендарную Полину Стрепетову, давшего путевку в жизнь Марии Савиной, Владимиру Давыдову, Александру Ленскому, Константину Варламову, сформировавшего самостоятельную оперную труппу, которая положила начало Казанскому театру оперы и балета. Нашел отличный эпиграф к диссертации в одной из статей Белинского: «Зачем мы ходим в театр, зачем мы так любим театр? Затем, что он освежает нашу душу, завядшую и заплесневелую от сухой и скучной прозы жизни, мощными и разнообразными впечатлениями, затем, что он волнует нашу застоявшуюся кровь неземными муками, неземными радостями и открывает нам новый, преображенный и дивный мир страстей и жизни!»

«До чего точно сказано! — закуривал в волнении очередную папиросу. — Ни прибавить, ни убавить. Вот в таком стиле и писать. Без нудятины...»

Скрипнула за спиной дверь, он обернулся.

Вахтерша.

— К телефону, — произнесла, зевая. — Какая-то женщина...

Звонила Юлия.

— Леша, что с тобой? Почему ты не приехал?

— Заболел, температура... — он покосился на вахтершу, та демонстративно копалась в ящике стола.

— Температура? — у нее был встревоженный голос. — Давай я приеду, привезу тебе что-нибудь... У тебя был врач? Нужны какие-то лекарства? Я съезжу в аптеку, привезу.

— Не надо приезжать! — бросил он в раздражении. — Мне надо побыть одному. Ясно? Одному! У меня серьезная работа!

— Но ты же говоришь, что болен... Хорошо, давай я приеду завтра, после работы. Извини, я звоню из будки, здесь очередь.

— Я же сказал: не надо приезжать! — он уже кричал. — Не надо вообще! Никогда! В трубке щелкнуло: на том конце провода повесили трубку.

В середине следующего дня, он только что вернулся из библиотеки, в общежитие примчалась генеральша. Сбившаяся косынка, задыхается от волнения.

— Что у вас произошло, Алексей? Она убежала в парк. Пожалуйста, поедemте! У меня сердце не на месте!

Удалось, к счастью, поймать на улице такси, до лесопарковой зоны добрались за какие-нибудь полчаса.

Был воскресный день, на берегу речной заводи, на парковой аллее с павильоном газированных вод и лотками мороженщиц толпы отдыхающих, несутся с летней эстрадки звуки вальса.

Они обошли несколько раз территорию парка, спустились к песчаному пляжу. Лежаки там и тут, раздевалки, толпы купальщиков. Что делать, куда идти дальше?

— Господи, лишь бы с ней ничего не случилось! — твердила генеральша. — Я этого не переживу!

В этот миг он ее увидел. За дальними кустами. Сидела, пригнувшись, на корточках у декоративной вазы с полусохшим фикусом, смотрела в их сторону.

Отлегло от души: жива! И разом мысль: «Розыгрыш! Дешевый спектакль! Решили поугаать...»

— Алексей, куда вы! — кричала ему в спину генеральша.

Он бежал, не оборачиваясь, к автобусной остановке.

Не видел ее больше месяца, поостыл. Писал первую главу реферата, весь ушел в работу. Возвращался в один из дней трамваем из библиотеки, проезжал мимо «Татарстана». Вспомнился ресторанный вечер, как они топтались, обнявшись, у эстрадки, ее испуганные вопрошающие глаза. Меньше всего подозревал в себе жалость, и вдруг нахлынуло — щемящая боль в сердце. Как она там? Здорова? Нелепый розыгрыш в парке показался мелочью, был объясним: отчаяние, попытка любой ценой удержать его рядом. Несправедливо за это наказывать...

Прошла неделя, она не давала о себе знать. Не выдержав, он поехал в университет, заглянул в приемную ректора.

— Серегина? — оторвалась от машинки Фима Давыдовна. — На операции. Вы что, не слышали? Обострение базедовой болезни...

Час спустя он шагал среди поселковых луж. Было пасмурно, сеял мелкий дождь. Прошел через двор, таща ноги по чавкающей грязи, нащупал щеколду знакомой калиточки.

— Нету их, — сообщила из-за штакетника кормившая поросенка Кувалдиха в накиннутой на голову рогоже. — Дочка в больнице, мать, должно быть, там.

— В какой больнице, не скажете? — подошел он к заборчику.

— Кажись, в первой городской.

— Спасибо! — побежал он к воротам.

5

Они поженились спустя несколько дней после ее выписки. Не осталось следа от прежнего настроения, стоило увидеть ее в смрадной общей палате, на кровати с просевшей до пола металлической сеткой — осунувшуюся, бледную, с перевязанным горлом. Никогда потом за долгую их жизнь не испытывал он к ней такой нежности

и сострадания, не чувствовал так остро потребности защитить от невзгод, стать опорой, как в минуту, когда, пройдя между рядами тесно стоявших коек, увидел ее лицо. Бескровное, с острыми скулами. Она поправляла косынку, слабо улыбалась, приподнявшись с подушки...

На свадьбу приехала из Калуги мать. Привезла домашний окорок, сушеных грибов, пряников. Помогла генеральше нарезать индюшку, хлопотала за кухонным столом, обнимала то и дело принарядившуюся Юлию, говорила счастливо: «Невестушка у нас — дай бог каждому!»

Из приглашенных был только давний его приятель, фотокорреспондент окружной военной газеты Боря Могилянский. Умница, остряк. Согласился на роль тамады, придумывал тосты, смешил за обедом женщин.

В разгар застолья приоткрылась наружная дверь, в комнату вошла с банками солений в обеих руках Кувалдиха в цветастом сарафане.

— Совет да любовь! — поклонилась. — Не прогоните?

— Заходи, партизанка, — потянула от стены табуретку генеральша. — Леша, — обратилась к нему, — налей, пожалуйста, гостье.

Перед десертом они вышли с Борей в палисадник покурить. Тотчас, словно из засады, надвинулись со всех сторон головы соседей. Мужчины, женщины, ребягня.

— С праздничком! — послышалось.

— Поздравляем!

— Мир вашему дому!

Понаторевшая в нравах дворового общежития генеральша вынесла и поставила у калиточки трехлитровую банку домашнего самогона, стаканчик, закуску.

— Милости прошу, дорогие соседи! Очень рады!

Подходили по очереди, выпивали, морщились. Цепляли оловянной вилкой селедочку, хрустящий огурчик. Мальчишки и девчонки дружно расхватили принесенную Юлией на подносе горку нарезанной халвы.

Медовый месяц они провели в Калуге. У матери остался от родителей деревянный домишко в центральной части города, где она жила с племянницей Олей и ее семилетним сынишкой. Поместили их в нагретой солнцем чердачной комнате с выходившим на Волгу слуховым окном. С утра, позавтракав на кухне, они уходили на целый день в город. Бродили по тихим, поросшим травой улочкам, среди старинных построек, обветшалых, точно обугленных временем, домов с резными наличниками, заходили под каменные своды Гостиного двора с заколоченными крест-накрест лавками, шли на берег реки, усаживались на косогоре, смотрели, щурясь, на проплывавшие мимо дымные моторки, на причаливший к пристани на противоположном берегу буксир, с которого тащили по сходням мешки похожие на муравьев цепочки грузчиков.

— Я так счастлива, Лешенька, — говорила загоревшая на свежем воздухе Юлия. Поправляла прикрывавшую серпик шрама бархотку на шее, клала голову на колени. — Ничего не надо больше, правда?

Он гладил ей волосы, целовал — в глаза, губы. Все сошлось счастливо в те калужские тихие денечки: убаюкивающий ритм жизни, неяркая, трогающая душу природа срединной России, которую он так любил, близкая женщина рядом.

В Калуге он написал первую свою театральную статью. Они посмотрели в местном драмтеатре великолепно поставленный «Лес» Островского, возвращались пешком, обменивались впечатлениями. После ужина он сел за столик, стал писать. Беглые наброски, без какого-либо плана или общей идеи. Перед глазами стояло густо напудренное лицо актрисы, игравшей Гурмыжскую, встретившиеся на лесной дороге Счаст-

ливцев и Несчастливцев, стоявший неподалеку от театра на тускло освещенной аллее бюст Островского, у которого они остановились по дороге домой. Юля, помнится, ахнула, тронув его за рукав: «Смотри, Леша, он улыбается!»

По телу его пробежал холодок.

— Юлька! — заорал.

Она привстала на постели.

— Леша, ты чего? — терла глаза.

— Нашел! Гениальная тема!

Слетело с небес: провинциальный русский театр! Центр культуры, просветительства, досуга людей, живущих в глубоком захолустье унылой, однообразной жизнью. Мир сцены, счастливец и несчастливцы, седоусые отцы города, дамы с вычурными прическами в партере, хлопающая неистово с галерки разночинная публика, купцы-меценаты за столиком театрального буфета, покупающие молоденьких актрис, как скаковых лошадей. Показать все это через драматургию Островского, судьбу его персонажей!

— У него три изумительных пьесы о театре, — говорил, волнуясь, сидя на кровати, — «Лес», «Таланты и поклонники», «Без вины виноватые».

— Ну и что? Леш, не кричи в ухо!

— Как что, Юлька? Это же энциклопедия жизни русской провинции! В театральных сценах и монологах. С чудным русским языком, ароматом эпохи. Театр и жизнь, понимаешь? Будет потрясающая статья! — обнял ее за плечи. — Слушай, давай выпьем, а?

— Спятил, третий час ночи!

Никогда с таким удовольствием ему не работалось. Писал, не отрываясь. Тема ширилась, обрастала идеями. Что-то надо было заново переосмыслить, от чего-то отказаться. Уставал, ложился рядом со спавшей женой, смотрел в темный просвет окна. Вскakiвал, зажигал лампочку, хватал ручку, вновь принимался строчить в блокнот.

Написанную за две недели, проверенную на слушателях (жена, мать и торопившаяся на службу, поглядывавшая на часы Оля) тридцатистраничную рукопись послал в журнал «Театр». Ответа не дождался, махнул рукой: плевать! — главное, одолел казавшуюся недоступной высоту, почувствовал себя по-настоящему театроведом.

«Напечатаю где-нибудь. А не напечатаю, тоже не беда. Пригодится в будущем».

Оставалось несколько дней до отъезда, были куплены билеты, когда работавшая в областной библиотеке Оля сообщила: приехал из Москвы по линии бюро пропаганды ВТО молодой драматург Радунский, выступит с лекцией.

— Приходите, если интересно. Завтра, в половине третьего.

— Как ты сказала? — переспросил он.

— Радунский... — Оля задумалась. — Или Радимский. Точно не помню.

— Ага, — оживился он. — Пойдем обязательно!

— Господи, лекция, — красила ногти у зеркала Юлия. — Леша, тоска же смертная.

— Не скажи. Это тот, что написал «Новую главу про любовь». Эфрос в Ленкоме поставил. Мы с тобой фильм видели по этой пьесе, забыла? С Дорониной в главной роли.

— Там, где она бортпроводница?

— Ну!

— Фильм замечательный. А лекция нам зачем?

— Юлька, кончай трепаться! — топнул он ногой. — Мы идем, Оля.

Пришли за десять минут до начала, заняли места в небольшом читальном зале с рядами книжных полок. Читали развешанные по стенам крылатые выражения, раз-

глядывали публику. Народу собралось немного, преимущественно женщины средних лет и старше. Впереди устроилась живописная пара стилияг: на нем вельветовый пиджак свекольного цвета, джинсы «дудочкой», воинственно взбитый кок, у коротко стриженной девицы с полиэтиленовой сумкой на коленях чудовищных размеров пластмассовые кольца в ушах.

Появление драматурга вызвало в зале легкое замешательство. В проходе показались директор библиотеки в военном кителе и следом, слегка пританцовывая, огненно-рыжий молодой человек с лицом шкодливого подростка. Элегантная импортная куртка с погончиками на плечах, небрежно повязанный на шее шарфик.

— Товарищи, — остановился у деревянной трибуны директор, — позвольте представить вам гостя из Москвы, молодого драматурга Юрия Олеговича Радунского. Пожалуйста, товарищ Радунский, — пригласил жестом, — вам слово.

— Благодарю!

Приезжий схватил в объятия трибунку и, ослепительно улыбаясь, отнес в угол.

— Теперь я ваш! — потер руки. — Лицом к лицу. Для начала можете немного поаплодировать.

Послышались смущенные хлопки.

— А теперь побеседуем.

Он был явно не прост. Подмигнул подсевшей к ним с опозданием Оле. Шутил, комиковал. Стал неожиданно серьезен, стал рассказывать, как начал писать. В двадцать два года сочинил поставленную в Московском театре юного зрителя пьесу «Индийский маршрут».

— С треском провалился. Как Чехов с «Чайкой». Крепился пять лет, написал «Новую главу про любовь». Бац, и стал знаменитым. Вообще, моя жизнь, — сложил руки на груди, — история про удачливого человека. Как говорил папа моей подруги по сцене Жени Симоновой, «вы золотой мальчик». Главное мое удовольствие, может быть, единственное — писать. Для меня воображение реальнее действительности. Мир, о котором я пишу или рассказываю, на самом деле существует, он и есть мой настоящий мир. Помните у классика? — вскинул театральным жестом руку, произнес с чувством: — «Что ему Гекуба? Что он Гекубе, чтоб так по ней страдать?» По выдуманной Гекубе я страдаю больше, чем если бы она существовала на самом деле и была близким мне человеком...

— Над чем вы сейчас работаете? — тряхнула пластмассовыми кольцами стилиажная девица.

— О, наконец! — Радунский зажмурился от удовольствия. — Ждал. С томленьем упования. Пишу сейчас... как вас, простите, величать?

— Мадлен.

— Изумительно! Пишу, Мадлен, по-настоящему выстраданную вещь. Хотя невыстраданных вещей у людей моей профессии не бывает. Вообще, у всех, кто занимается творчеством.

Внимательно смотрел на девицу.

— Вы замужем?

Девица в ответ захихикала, спутник расплылся в широкой улыбке.

— Пока нет.

— Ясно, — Радунский подошел вплотную к рядам стульев.

— Пьеса будет называться «Ранние браки». Она о начале семейной жизни молодых людей. Ее зигзагах, сложностях. О том, что нельзя это хрупкое, беззащитное растение трогать грубыми руками...

Юля сжала ему локоть.

— Молодые люди, — продолжал Радунский, — воспринимают брак как совместный турпоход («Умница! Сколько ему сейчас лет?»). — Им кажется, что все хорошее еще впереди. Не задумываясь, они рушат свои первые семьи. Есть к тому же любящие теща и свекровь, каждая из них знает, какой ужасный выбор сделало их чадо. Так что молодым есть куда бежать во время размолвок, есть кому пожаловаться, есть плечо, к которому можно прислониться. Лейтмотив моей новой пьесы, Мадлен, — задержал взгляд на девице, — не трогайте, господа, первых браков. Это браки детей.

— Господи, как грустно, — чей-то женский голос.

— Совсе нет, мадам, — Радунский посмотрел в ту сторону. — Будет, напротив, веселая вещь. Комедия, быть может, мюзикл. Поставят в Костроме, обязательно приеду на премьеру. Лично вам обещаю контрамарку...

6

Прошло полгода, он защитил диссертацию, стал доцентом, читал в институте курс по истории становления советского театра в национальных республиках. Играл по воскресеньям с Борей в теннис на стадионе «Динамо», ходил с женой в гости, на театральные премьеры, в киношку. Зимой неожиданно пришло почтовое уведомление: получить бандероль. Это были гранки из редакции журнала «Театр» с набранной статьей и припиской заведующего отделом критики: поторопиться с читкой — статья планируется в апрельский номер. Вышла к обещанному сроку, без купюр и правки, со сноской в конце: «Театровед Алексей Цветков из Казани печатается впервые, редакция приглашает специалистов и читателей принять участие в обсуждении, высказаться по затронутой автором теме».

Со статьи в популярном журнале началась его известность. Стали поступать заказы — из редакций местных газет, республиканского Радиокомитета: написать отклик, рецензию, поделиться мыслями о театральной новинке, выступить с обзором. Стал своим человеком в Русском драмтеатре, подружился с художником Львом Марковичем Литвиновым, не пропускал ни одной постановки, бывал на читках, прогонах, напечатал в «Театре» большую статью о премьерном спектакле качаловцев — инсценировке по нашумевшей повести Василия Аксенова «Коллеги».

Двинулась неожиданно очередь на квартиру: сыграло роль имя, участие в общественных мероприятиях, сидения в президиумах, знакомства с людьми, могущими повлиять на перемещение в списке очередников. С нереальной пятизначной цифры на реальную трехзначную.

Первое, что они сделали, получив в исполкоме ордер на вселение в двухкомнатную секцию в соцгороде, отправились известить о радостном событии тещу.

— У тебя будет отдельная комната, мама, — обняла мать за плечи Юлия. — С красивым видом. Лес, речка.

— С чего вы взяли, что я собираюсь куда-то переезжать? — последовал ответ. — Мне и здесь хорошо, не буду вас стеснять.

Сказала, как отрезала, никакие уговоры не помогли.

«Ну и ладушки, — подумал он тогда с облегчением. — Будем мучиться в одиночку».

Шло время. Страна двигалась семимильными шагами к светлому будущему. Возводила плотины на сибирских реках, осваивала казахстанскую целину, собирала рекордные урожаи зерновых и хлопка. Народ участвовал в очередной переписи населения, следил за полетом космического корабля «Союз-9» в составе экипажа А. Николаева и В. Се-

вастьянова, голосовал на выборах в Верховный Совет СССР и союзных республик, приветствовал принятые по докладу товарища Леонида Ильича Брежнева исторические решения XXIV съезда КПСС. Газеты писали о том, что в американистских застенках пламенной коммунистке Анджеле Дэвис, путешествии Тура Хейердала по Атлантическому океану на папирусной лодке «Ра-2», о недостойном поведении академика Сахарова, победе бразильской сборной на чемпионате мира по футболу, о приезде в Москву всенародно любимого индийского актера Раджа Капура и его партнерши по фильму «Бродяга», томной красавицы в голубом сари Наргис.

Возвращаясь как-то с работы, он столкнулся в автобусе с Асей. Похорошела, была модно одета, с крокодиловой сумочкой в руках. Разговорились, он проехал свою остановку, вышел вместе с ней. Шли по тротуару мимо Ленинского сквера, она кивнула на лавочку в начале аллеи:

— Посидим?

Рассказала, что развелась с мужем, встречается с приличным человеком, армянским, тоже разведенцем. Он заведующий базой потребкооперации, состоит в жилищном кооперативе. Они, вероятно, поженятся, когда будет сдан дом...

— Он старше меня, — чертила носком каблука по песку. — Но это, по-моему, не имеет значения.

От нее исходил запах знакомых духов.

— Как у вас, Леша?

— Не жалуюсь. Грызу гранит наук.

— А в личной жизни?

— Тоже порядок.

Неожиданно захотел ее. До безумия! Дотронулся до узкого колена в капроновом чулке.

— Леша, ну что вы...

— Идем! — потянул ее за руку.

Позвонил из ближайшего автомата Боре — тот, к счастью, был дома.

— Что у тебя? — осведомился. — Леша, давай по-быстрому, у меня бумага в проявителе!

— Выручай, Боря!

— Опять? — возмутились на том конце провода. — Ладно, давай так. Я оставлю дверь открытой, сам буду в лаборатории. Полтора часа хватит?

— Хватит, Боренька... — он смотрел сквозь стекло кабинки: Ася ходила по тротуару, смотрела на часы.

Холостяцкая квартира на Федосеевской была конспиративным убежищем друзей и сослуживцев Бори, лишенных возможности уединиться с женщиной. Терпевший неудобства от внезапных вторжений, честивший на чем свет беспардонных бабников фотокор окружной армейской газеты снисходил тем не менее к человеческим слабостям.

С Асей он больше не расставался. Встречались нечасто, ей сложно было надолго исчезать из дома, армянин был ревнив до безумия, устраивал, по ее словам, допросы.

Дома шла рутинная игра в семейную жизнь. С неизменным репертуаром и в прежнем темпоритме. Не строили из себя, слава богу, пылких влюбленных: всему свое время. Он работал ночами в кабинете, часто там и засыпал на раскладном диване, кончилось тем, что они стали спать каждый в своей комнате.

Юлия была в мать, обидчивая, злопамятная. Могла дуться из-за пустяков, неделями не разговаривать. В отличие от жены, он постоянно забывал о дне их свадьбы, и всякий раз она ему об этом напоминала, чисто по-женски. Он приезжал из института пообедать, а в доме вкусно пахло жареной индейкой, на подоконнике ее любимые

игольчатые хризантемы в хрустальной вазе, стол застлан парадной скатертью, расставлена посуда, на видном месте банка шпрот, красная икра, из холодильника извлекается бутылка шампанского («Открой, пожалуйста!»). Сцена за обеденным столом несла сверхзадачу — выразить немой укор, дать почувствовать: моя жизнь тебе безразлична, не надо, пожалуйста, лицемерить, каяться в забывчивости, дарить на другой день духи. Мне это неприятно...

Она с удовольствием обставляла квартиру: гэдээровские гардины, румынская «стенка», за которой простояла больше года в очереди, восточный ковер в гостиной, тоже в порядке очереди, два импортных кресла к журнальному столику.

«Импорт» был символом эпохи, предметом жизненных устремлений людей, мечтавших украсить быт, по-человечески одеться. Охотились за чешской обувью, итальянскими плащами из «болоњи», финскими сапожками, американскими джинсами, монгольскими кожаными пиджаками. Побывавшие за рубежом счастливчики привозили купленные на сэкономленную валюту колготки, женское белье, жвачку в пакетиках, шариковые авторучки, поносимый печатно и устно пенистый напиток бордового цвета в витых бутылочках «Made in USA», отдающий керосином, — кока-колу, который, по уверениям отечественных медиков, содержал крайне опасные для организма человека вещества.

Юлия ушла из института, устроилась инспектором по трудовым вопросам в Республиканский совет профсоюзов. Приличная зарплата, закрытый продовольственный магазин, в котором раз в неделю можно было получить полтора кило мяса, два десятка яиц, сливочное и растительное масло, рис, муку — все по госцене. Неудобной стороной было (для нее, не для него) обязательность ездить с плановыми проверками и по жалобам трудящихся в командировки.

Он ждал с нетерпением этого случая, звонил, проводив ее на вокзал, приятелям: Боре, Арнольду Гану, Гоше: ребята, сегодня вечером у меня! Как обычно...

Мальчишник! Ни с чем не сравнимый праздник мужского братства — никаких баб, одни мужики! Безмятежные часы веселого трепачения, растекания мыслью по древу, улетания в заоблачные выси — в майках и трусах, растянувшись на ковре, под болгарскую трехзвездочную «плиску», шкварчащий горячим жирком шашлычок с балконного мангала, «Жигулевское» пиво от пуза, еле слышную музыку из стереофонических колонок.

О чем только не говорили, не спорили они, каких не высказывали ярких мыслей, абсурдных, чудовищных теорий, как хохотали, катаясь по коврику над слетавшими с языка остротами!

Читавший на кафедре лекции по западному театру Арнольд, увлекшийся в последнее время идеями Гордона Крэга, втолковывал художнику Гоше, что давно пора выкинуть с театральных подмостков обезьянничавших кривляк, актеров, вернуть на сцену марионетку.

— Пойми! — потрясал рукой перед пребывавшим в состоянии нирваны, по-детски улыбающимся Гошей. — Человек, творение природы, — инородное тело в абстрактной структуре произведения искусства. В данном случае спектакля.

— Инородное? — Гоша пытался поддержать мысль, вскидывал тяжелую голову.

— Именно! — палец Арнольда выстукивал тремоло по худосочной Гошиной груди. — Готов подписаться под каждым словом великой Элеоноры Дузе, говорившей, что для того, чтобы спасти современный театр, его надо сперва разрушить, а актеры и актрисы, отравляющие сценический воздух, делающие искусство невозможным, должны умереть от чумы!

— А че, согласен, — меланхолично прожевывал ломтик лимона Гоша.

В «Театре» печатались главы из его исследования «Историческая пьеса: сцена как интерпретатор истории в монологах и лицах». На тему натолкнул, как часто у него бывало, спектакль, на этот раз «Мамаша Кураж» Бертольда Брехта, который они с Юлией посмотрели во время поездки в Болгарию.

Мечта поехать за рубеж зрела давно, лежали для этой цели деньги на сберкнижке, но все усилия заполучить желанную путевку успеха не имели: загранпоездки были особой формой поощрения за успехи на производстве и в общественных делах, отбором кандидатов занимались партийные и профсоюзные органы, строго следившие за тем, чтобы не выпустить за пределы страны идейно незрелых, нестойких лиц, способных создать у иностранцев негативный образ советского человека.

Выручил, как обычно, блат. Арнольд, встречавшийся с бухгалтершей местного отделения театрального общества, нагнал его как-то в коридоре.

— Леша, — сообщил полупшепотом, — есть горящие путевки! В Болгарию, с недельным отдыхом на море! Ответ Надюхе надо дать немедленно. Желающих, сам понимаешь. Захвати деньги и рви в театральный фонд. Надюха работает до шести. Там все узнаешь...

Карусель завертелась нешуточная. Оплаченные путевки еще ничего не значили, надо было запастись положительной характеристикой месткома («политически грамотен, морально устойчив, в быту дисциплинирован и скромнен»), пройти собеседование в горкоме партии, ответить на вопросы членов отборочной комиссии, выслушать советы и рекомендации по поводу того, как вести себя в загранпоездке, что можно, что нежелательно, чего категорически не следует делать. Состояла комиссия, возглавляемая секретарем горкома КПСС по пропаганде, из стойкой плеяды общественников: ветеранов войны и труда, пенсионеров союзного и республиканского значения. Относились избранники к порученному делу с повышенной ответственностью, спуску любителям зарубежных вояжей не давали, задавали каверзные вопросы, долго и нудно втолковывали прописные истины.

— Как вы относитесь... — сурово глядел на них с Юлией мужчина с орденой планкой на мятом пиджаке. — Как вы относитесь к недавним событиям в Чехословакии?

— Можно, я скажу? — заторопился он.

— Говорите.

— Мы с женой с самого начала целиком и полностью поддерживали действия нашего правительства по оказанию братской помощи чехословацким трудящимся в защите социалистических завоеваний и ликвидации контрреволюционного мятежа.

— Хорошо, а письмо антисоветчика Солженицына? Съезду писателей?

— Решительно осуждаем!

— Да... — робко поддержала Юлия.

Выкручивали коллективно мозги. Трилогия товарища Леонида Ильича Брежнева: «Малая земля», «Возрождение», «Целина».

— Читали, — осмелела Юлия, — очень интересно.

— Генеральный секретарь коммунистической партии Чили?

Он задумался на миг.

— Ну? — придвинулась к нему дородная тетка с депутатским значком на груди. — Товарищ... Луис...

— Корвалан! — вспомнил он.

— Правильно! — осветилась нежностью к далекому чилийскому секретарю тетка. — Трудящиеся Чили называют его любовно «товарищ Лучо».

— Песенки хрипуна этого с гитарой слышали? — вопрос секретаря горкома КПСС.

Ясно, о Высоцком. К стыду своему, узнал о шельмуемом в печати авторе-исполнителе позже приятелей, влюбился безоглядно, услышав на подпольном прослушивании у Бори переписанные в домашних условиях на магнитофон, ни на что не похожие песни-монологи: «Кони привередливые», «Охота на волков», «Спасите наши души».

— А, этот самый, из Таганки? — обронил небрежно. — Я, знаете, самодеятельными певцами не интересуюсь. Мы с женой любители песенной классики. Лирической, гражданской («Актер актерич», — мысленно похвалил себя).

— Один хороший совет... — подвел черту под получасовой пыткой татарин в бархатной тюбетейке, все время что-то писавший в блокноте. — Приедете за границу, пойдете покупать шара-бара. «Ой, какой хороший, у нас такой нет!» Так говорить не надо. Говорите: «Берем на память. Как сувенир».

— Чтoб вам! — плюнул он в сердцах, когда они вышли без сил за двери горкома. — Чучела огородные!

— Лешенька, смотри, — помахала в воздухе вожделенной бумажкой с рекомендациями Юлия. Запрыгала по-девичоночь по тротуару, пропела, обернувшись: — Мы едем, едем, едем!

Летели в Москву самолетом. Едва устроились в гостинице, тут же рванули за получением загранпаспортов на Профсоюзную, в отдел иностранного туризма ВЦСПС. Очередная промывка мозгов, наставления, коллективная читка за столом «Правил для выезжающих в капиталистические и развивающиеся страны». Из содержания можно было понять, что знакомство с красивейшей балканской страной, семидневный отдых на черноморском курорте «Золотые пески» для туристов дело второстепенное, цель их поездки — «высоко нести честь и достоинство гражданина СССР, быть постоянно политически бдительным, строго хранить государственную тайну, в умелой форме разъяснять миролюбивую внешнюю политику советского правительства, достижения советского народа в развитии экономики, науки, культуры и других областях коммунистического строительства».

О безмятежном отдыхе за границей надо забыть. «Следует постоянно помнить, — предупреждали „Правила“, — что разведывательные органы капиталистических стран и их агентура стремятся получить от советских граждан интересующие их сведения, скомпрометировать советского человека, когда им это выгодно, вплоть до склонения к измене Родине. Агенты капиталистических разведок действуют часто под видом гидов и переводчиков, врачей и преподавателей, портных, продавцов, шоферов такси, официантов, парикмахеров и другого обслуживающего персонала. Разведывательные органы капиталистических стран стремятся использовать в своих целях и такие слабости отдельных лиц, как склонность к спиртным напиткам, к легким связям с женщинами, азартным играм, приобретению различных вещей и неумение жить по средствам, а также беспечность, болтливость, небрежность и халатность в хранении служебных и личных документов...»

— Может, останемся, а, Галь? — обернулся по окончании читки к сидевшей рядом жене круглолицый парень в полосатой тенниске. — Не выдюжим.

Востроносенькая жена с сережками в ушах залилась в ответ переливчатым смехом.

— Попрошу не отвлекаться, товарищи, — застучал по столу проводивший инструктаж заведомо иностранный туризм.

Отъезжавшим представили руководительницу группы, инструктора отдела агитации и пропаганды Московского городского комитета партии Антонину Георгиевну Паламарчук. Тошую, под потолок, дылду с лошадиной челюстью, которую он тут же окрестил «Явдохой».

— Мы теперь с вами сплоченная ячейка советского общества, — вразумляла, вышагивая по-солдатски впереди вяло тащившейся по тротуару группы. — По нашему поведению будут судить в целом о стране. Не забывайте об этом, товарищи, — остановилась у светофора. — Кому на метро или в центр — на ту сторону. Не перепутайте завтра вокзалы. Наш Белорусский, поезд тринадцатый, седьмой вагон, платформа номер три. Чао! — изобразила на лице подобие улыбки.

Абсурдистский спектакль «Загранпоездка» распахнул занавес. Была середина июля, палило немилосердно солнце, скорый поезд Москва—Варна с неисправной, как положено, системой охлаждения несея среди изнывавших от зноя родных просторов. По раскачиваемым коридорам гулял горячий суховей, купе напоминали инкубаторы, теплая вода в сортирных кранах пованивала болотной гнильцой.

Проехали виноградную Молдавию, до пограничной станции Чоп было рукой подать. В купе поминутно заглядывала Явдоха, предупреждала: загранпаспорта держать на видном месте, с таможенниками в разговоры не вступать, четко отвечать на вопросы, показывать по первому требованию содержание багажа.

Юля лежала с мигренью, отвернувшись к стенке, он сидел рядом, читал в свежем номере «Театра» новую пьесу Радунского «Жизнь и смерть декабриста», соседи по купе, совхозный фельдшер из-под Винницы Сема (тот самый, пошутивший на инструктаже в ВЦСПС) и молоденькая его жена-хохотушка Галя, играли в карты.

— Через полтора часа граница, — заглянула в дверь с озабоченным лицом Явдоха. — Будьте наготове.

Черт его тогда попутал, решил засунуть лежавшие на столике четыре загранпаспорта за край оконной рамы. Чтоб были на виду. Едва опять присел, Сема, только что обыгравший в подкидного смешливую жену, встал, одернул на плечах потную майку, хлебнул воду из графина.

— Ну и пекло! — потянул вниз створку окна. — Мозги плавятся.

Он зажмурился в ужасе...

— Мамочки! — услышал над головой задушенный вскрик Гали. — Паспорта!

Наступал конец света! Потерянные, ничего не соображая, они сгрудились у раскрытого окна с бьющейся на ветру занавеской, заглядывали по очереди в забитый копотью зазор между створками, куда провалилась выстрадавшая в муках, стоившая немалых денег упорхнувшая мечта из четырех загранпаспортов.

— Боже мой! — причитала с прижатыми к вискам ладонями Юлия. — Боже мой! Что с нами будет!

На Галю напал нервический смех, каталась на полке с поджатыми ногами.

— Не могу! — кричала. — Умру сейчас!

— Тише ты! — оборачивался от окна со зверской физиономией Семен, тыкавший безуспешно перочинным ножиком в щель. — Глубокая, зараза, не достать...

Выхода из положения не было никакого. Маячил впереди арест, отправка под конвоем на родину в зарешеченном вагоне. О дальнейшем было лучше не думать.

— Что? — грозно поднялась навстречу ему и Семену подкреплявшаяся перед важным событием крутым яйцом с вареной картошкой Явдоха. — Паспорта провалились?

— Ага, — подтвердил Семен. — Под пол вроде.

— Пустите! — плюнула в него крупинками желтка Явдоха, устремляясь к двери. — Провокаторы!

Через несколько минут в забитом до отказа купе с открытым окном, мимо которого бежали приграничные пейзажи, проходила экстренная летучка: начальник поезда со значком почетного железнодорожника, Явдоха, обе проводницы, несколько пасса-

жиров с техническим образованием. Заглядывали по очереди в щель, мерили на ширину ладони расстояние от верха до пола.

— Разобрать стенку, — подвел итог летучки начальник поезда. — Давайте, фокусники, — обратил тяжелый взгляд на него и Семена. — Заварили кашу, лишили бригаду премиальных за квартал. У меня для вас лишних ремонтников нет. Берите отвертки у проводницы, и за работу. Не управитесь, — глянул на часы, — за сорок минут, пеняйте на себя...

Проходившие мимо третьего купе пассажиры проскакивали с изумленными лицами мимо. У дверей стояла, шевеля беззвучно губами, голубоглазая женщина в цветном сарафане, изнутри слышался истерический смех, видны были спины полуголых мужчин в трусах с отвертками в руках, разбиравшие вагон. Кто-то потом уверял, что видел собственными глазами: за окном, вровень с поездом, бежал ростом со светофор Сэмюэл Беккет, кричал, сунув голову в купе: «Не запасайтесь пока веревками! Ждите Годо!»

Расскажи ему кто-нибудь потом, что за четверть часа до того, как скорый поезд Москва—Варна затормозит у дебаркадера пограничного Чопа и в вагон войдут румынские таможенники для проверки багажа и документов, двое российских охламонов, умудрившихся упустить загранпаспорта за оконную створку, очумелые от случившегося, грязные как черти, с негнушимися пальцами, сумеют разворотить стенку новенького гэдэеровского купе, достать паспорта, вернуть худо-бедно стенку на место, натянуть брюки и сорочки, отвечать внятно на вопросы щеголеватого офицера в темно-зеленой форме, презентовать ему напоследок бутылку «Столичной» в честь советско-румынской дружбы, — подобное он считал бы не стоящим внимания дорожным трепом. Ну, нереально, ей-богу, ребята, не бывает такого...

7

«Пажжалуста патаграфэ! — знакомый голос неподалеку. — Я здесь! Серезенька здесь!»

Открыв глаза, он смотрит в сторону раздевалок.

Бродячий фотограф-болгарин в шортах и соломенном сомбреро. Шагает по пляжу, ведя за уздечку покрытого цветной попоной молодого верблюда.

— Здравствуйте, Наташа! — кричит в сторону загорающих на утреннем солнышке русских туристов. — Я здесь! Пажжалуста патаграфэ!

— Леш, давай сфотографируемся, — приподнимается с лежака Юлия.

— Не хочется, — он поворачивается на другой бок. — Снимайся сама.

— Всегда у тебя так...

Отряхиваясь от налипшего песка, она идет навстречу фотографу. Тот улыбается ей как старой знакомой, подгоняет верблюда, животное сопротивляется, трясет возмущенно губастой мордой.

У фотографа, именующего себя на русский манер «Серезенька», складная стремянка в руках, он помогает Юле подняться, протягивает сомбреро.

— Бразилиано! — вскидывает на груди фотоаппарат. — Смотри сюда!

Он наблюдает со своего места, с каким удовольствием позирует перед камерой сидящая на верблюжьем горбу жена, как провожают ее взглядами, ступающую осторожно по горячему песку, загорелые мужчины.

Отель «Гладиола» в ста каких-нибудь метрах от моря, на пляж и обратно ходят в купальниках и резиновых шлепанцах. Обслуживание потрясное, кормят четыре ра-

за в день, через сутки меняют постельное белье. Праздность, обильная еда, морской ультрафиолет делают свое дело. <...> Спят как сурки после обеда, пропускают рекомендованные диетологом вечерние разгрузочные прогулки, опаздывают на проводимый Явдохой обязательный политчас в холле.

На политчасе обсуждают пойманные по «радиомаяку» сообщения с родины, зачитывают передовицы из только что поступившего в газетный киоск свежего номера «Правды», разбирают проступки членов группы, нарушающих режим (ушли в соседний отель, не предупредив, общались на пляже с подозрительными людьми).

— Слушай, пошла она к черту! — не выдержал он в один из вечеров, когда они лежали на веранде под звездами. — У меня трудовой отпуск, «Правду» я прочту, когда мне захочется.

Пропустили один политчас, другой. После третьего прогула Явдоха мягко попеняла, встретив в коридоре:

— Отрываетесь от коллектива, товарищи. У нас вчера был интересный разговор. По поводу фельетона Семена Нариньяни в «Крокодиле». О том, какой неблагодарной бывает молодежь по отношению к старшему поколению, давшему им путевку в жизнь... Да, кстати, Алексей, — тронула за плечо, — у меня к вам просьба. Намечается совместный товарищеский ужин с чехословацкой группой. Вы у нас человек пишущий. Подготовьте для меня, пожалуйста, тост. С учетом недавних событий в Чехословакии. О крепнущем, несмотря ни на что, единстве, нерушимом братстве наших народов. Ну, не мне вас учить...

О событиях минувшего лета в Чехословакии он, как большинство советских людей, узнал из газет. В пространном заявлении ТАСС говорилось, что партийные и государственные руководители ЧССР обратились к Советскому Союзу и другим государствам Варшавского договора с просьбой оказать братскому чехословацкому народу неотложную помощь, включая помощь вооруженными силами, для защиты социалистического строя и государственности от покушения контрреволюционных элементов, вступивших в сговор с враждебными социализму внешними силами. Откликнувшись на призыв, советские войска совместно с воинскими подразделениями Болгарии, Венгрии, ГДР и Польши вступили на территорию Чехословакии и будут незамедлительно выведены, как только угроза завоеваниям социализма в этой стране и безопасности стран социалистического содружества будет устранена...

— Да ерунда все это, — втолковывал ему Боря, слушавший по ночам с наушниками пробивавшиеся сквозь «глушилки» зарубежные радиоголоса. — Надоела чехам наша собачатина, ясно? Не хотят ходить по струнке. Направо, налево, кругом. Решили строить собственный социализм. С человеческим лицом. А наши к ним на танках. В Праге сооружают баррикады, идут бои, есть убитые.

— А может, все-таки контрреволюция? — пробовал он возразить. — Не могут же просто так ввести войска.

— Леша! Честный русский патриот! — кричал Боря. — Пробудись от галиматьи! Про Венгрию забыл? Говорили то же самое: защита завоеваний социализма. А на деле? То-то, брат...

Над тостом для Явдохы он трудиться не стал. Написал, не думая, на вырванном листке из блокнота: «Пусть процветает братская страна Чехословакия! Пусть будет счастлив ее замечательный трудолюбивый народ!»

— И все, Алексей? — разочарованно вертела в руках листок Явдоха. — Я думала, вы придумаете что-нибудь такое, лирическое, душевное. На страничку хотя бы.

— Я театровед, лирическое не по моей части, — сухо ответил он.

— Жаль, — спрятала она листок в карман.

Перед началом товарищеского ужина группа в полном составе собралась в холле. Все принаряженные, благоухают парфюмерией, в руках подарки для дружеского обмена: обернутые в бумагу бюстики маленького и взрослого Ленина, матрешки, палехские кухонные дощечки с видом Кремля. Явдоха, со взбитыми волосами, в тяжелом, как кольчуга, дакроновом платье, тревожно вглядывалась в лица.

— Значки не забыли, товарищи? — справлялась озабоченно. — Не торопитесь сразу дарить. Они нам свои значки, мы им свои. Водку передаем официантам. О так называемой Пражской весне... — закаменела лицом, — ни слова! Категорически!

Дружеский вечер в банкетном зале ресторана «Кривата липа» вспоминался ему потом фрагментами. Топтание в вестибюле возле трюмо, вхождение в зал во главе с Явдохой. Встречное движение выстроившихся вдоль стен нарядно одетых мужчин и женщин. Улыбки, рукопожатия:

— Здравствуй! Любомир.

— Очень приятно. Катя... Ой, простите, Екатерина!

— Волков Сергей, механик.

— Механик? А я, как это по-русски? Дую в стекло.

— Стеклодуд.

— Точно, стеклодуд!

— Осмоловская Людмила Алексеевна.

— Сильвестр Горак. Позвольте ручку!

— Семен. А это Галя.

— Рад знакомству. Альберт Дворжак. Вы смеетесь, Галя?

— Это у нее привычка такая, Альберт, не обращайтесь внимания. Смеется по любому поводу.

— Да? Замечательно!

ГОЛОС МЕТРДОТЕЛЯ: «Рассаживайтесь, рассаживайтесь, товарищи! Кому как нравится!»

— Хотите с нами?

Он оборачивается — удар в солнечное сплетение! Сероглазая Афродита в ниспадающей на плечи прозрачной блузке. Алый смеющийся рот, высоко вскинутые брови.

— Да? Хотите?

Протягивает руку с цветными браслетами на запястье:

— Петра. А вас?

— Алексей.

— Вы один, с женой?

— С женой. Она на минуту отлучилась, сейчас подойдет.

— Отлично, Томаш! — машет рукой блондину в летнем костюме, разговаривающему о чем-то возле эстрады с Явдохой. — У нас есть соседи!

Они за столом руководителя чехословацкой группы Томаша Прохазки и его жены.

— Если не возражаете, сядем так, — по-хозяйски распоряжается Томаш, — Петра с Алексеем, я с очаровательной паней Юлией. Будем голосовать? Нет?

— Вы часто так далеко отпускаете от себя супругу? — помогает он усестись рядом Петре.

— Первый раз, — улыбается Томаш. — Но что не сделаешь ради дружбы.

Общий смех. Лед тает.

— Давайте на «ты», товарищи. Что мы, в самом деле, как в Организации Объединенных Наций!

— Для этого надо выпить на брудершафт.
— Какой вопрос. Официант!
— Да, пожалуйста, — набриоленный официант в белоснежной рубашке с вензелем. — Швепс? — ловко орудует открывалкой. — Минеральная? Кока-кола?
— Сливицу, если можно. Мы пьем на брудершафт.
— О, понятно!
— Итак...

Он смотрит через стол, как, скрестив руки, цедают из рюмок сливицу Томаш и Юлия. Тянутся смешно друг к другу, целуются.

— Bravo! — хлопает в ладоши Петра. — А теперь мы...

Он в жаркой испарине, смотрит ей в лицо.

— На «ты», Алексей, — обхватывает она загорелой рукой его руку, они медленно пьют... Ее дыхание рядом, ее глаза, делящийся вечность поцелуй...

Сливица и последовавшая за ней «Столичная» делают свое дело: за столом теплота, дружеское взаимопонимание. Разговор о кино, о любимых книгах. Петра, оказывается, никогда не читала любимейшего его Алексея Толстого.

— У вас столько Толстых, можно запутаться. Я читала только «Анну Каренину» Льва Толстого. Понравилось, но не очень. Сказать, какая моя любимая книга?

— «Декамерон»?

— Я серьезно, Алексей. «Унесенные ветром». Прочла еще в школе. Всегда хотела быть такой, как героиня романа Скарлетт. Независимой, сильной.

Юлия: Был замечательный фильм по этой книге.

Петра: Да, с Вивьен Ли и Кларком Гейблом. Актеры чудо!

Томаш (*режет в тарелке отбивную*): Мне нравится ваша профессия, Алексей. Театровед — это серьезно. Можете поставить двойку любому режиссеру. Даже этому, из «Современника».

Он: Олегу Ефремову.

Томаш: Да, мы были с Петрой два года назад в Москве, видели его пьесу про декабристов. Очень сильная вещь.

Петра: Половину которой ты проспал. А потом спрашивал, в каком веке жили декабристы.

Томаш: Юлия, смотрите: я недаром посадил рядом двух гуманитариев. Моя любимая жена — художник, пишет стихи. Для нее простой инженер, такой, как я, профан в искусстве. Вы кто по профессии, Юлия?

Юлия (*в веселом подпитии*): Мы же на «ты» Томаш, пили на брудершафт.

Томаш: О, черт, прости! Кто ты по профессии, моя дорогая?

Юлия: По профессии, мой дорогой, я юрист.

Томаш (*хватая початую бутылку «Столичной»*): Пьем за юристов и простых инженеров! Юля, давай поцелуемся!

Юлия: Давай, Томаш.

Целуются, смеются.

Петра: А что же мы с тобой, гуманитарий?

Впивается страстно губами, Томаш и Юлия аплодируют.

Томаш (*разливает по рюмкам*): Пьем, пьем!

Женщины пригубляют рюмки, мужчины опрокидывают по полной.

Томаш (*подцепив на вилку патиссон*): Как у вас, дорогая Юлия и Алексей, с детишками?

Юлия (*вспыхнув*): Пока не очень. Собираемся завести.

Т о м а ш : То же самое у нас с Петрой. Предлагаю детально обсудить эту тему за столом. Демографическая ситуация в странах социалистического содружества. Как ее решают инженеры и гуманитарии.

П е т р а : Томаш, смени пластинку.

Г о л о с Я в д о х и (*из глубины зала*): Пусть процветает братская страна Чехословакия! Пусть будет счастлив ее замечательный трудолюбивый народ!

Т о м а ш (*вставая из-за стола*): Извините, мне надо сказать приветственный спич.

Часть мизансцены в тумане.

Банкетный зал, гул голосов, носятся как угорелые на кухню и обратно официанты, стук отодвигаемых кресел, броуновское движение в проходах по направлению к туалетным комнатам и обратно. На скатертях с сюрреалистическими потеками увядающие от сигаретного дыма розы в целлофановых обертках, флажки в вазочках: «СССР» и «ЧССР». Отзвучали приветственные речи, стихли аплодисменты и крики «ура!» в адрес великана-стеклодува из Богемии, схватившего в объятия и державшего на весу только что произнесшую тост, болтавшую в воздухе ногами Явдоху. Станцевали «паровозиком» вокруг эстрады летку-енку, прыгая с хохотом, в затылок друг другу, затем твист под аккомпанемент пьяного в доску аккордеониста. Нарушаемое короткими всплесками активности застолье теряло запал, входило в тихую гавань душевных разговоров, шепотов по углам, обжиманий, затаенного женского смеха.

Он был пьян, горел на медленном огне, молот чепуху на ухо Петре, чьи ноги в опасной близости под скатертью жили отдельной от нее жизнью. Она вглядывалась с ироничным прищуром ему в лицо, в глазах читалось: «Я все, все о тебе знаю. И даже чутьчку больше».

Томаш на диванчике рассказывал Юлии, поминутно целуя ей руки, как красива Прага, в особенности Пражский Град, в особенности весной, какую тяжелую жизнь он, деревенский парень, прожил, через какие прошел испытания, чтобы окончить институт, стать инженером, парторгом цеха, жениться на красавице из Тырнова, пишущей стихи, которая его презирает за карьеризм...

Поздний вечер, веранда ресторана, они с Томашем в плетеных креслах, курят. За запахнутой дверью возглас: «Предлагаю выпить за прекрасных дам!»

Т о м а ш : Ты коммунист, Алексей?

О н : Нет, беспартийный.

Т о м а ш : Почему беспартийный? Не коммунист?

О н : Не знаю. Не дорос идейно.

Т о м а ш (*грозит пальцем*): Перестань. «Не дорос». Не веришь в коммунистические идеалы, да?

О н : Верю. Когда хорошо выпью.

Т о м а ш : О-о, хорошо сказано! (*наливает из початой бутылки, чокается*). Давай. Скол!

Оба опрокидывают рюмки, закусывают из стоящей у ног соусницы.

Т о м а ш (*хрумящая маринованным огурцом*): А я молодой коммунист. Делаю карьеру (*меняет выражение лица*).

В дверях Петра.

П е т р а (*пылая от возмущения*): Томаш, дозт! Вратте зе до хали! (*Томаш, довольно! Вернись в зал! — чеш.*)

Исчезает за дверью.

Они помогают друг другу подняться. Идут, пошатываясь, в зал. <...>

Зал поредел, кучка мужчин чокается, стоя у окна, пьяную Явдоху, порывавшуюся сказать заключительное слово, уводят под руку Семен и умирающая от смеха Галя. Героически пытающийся выглядеть трезвым Томаш пожимает в дверях руки уходящим.

Т о м а ш : Спасибо, товарищи, хорошего путешествия... Приезжайте в Чехословакию. Мир и дружба! Как договорились: чешские мужчины провожают до отеля прекрасных русских дам, русские мужчины прекрасных женщин Чехословакии!

Коридор гостиницы, светят по стенам плафоны. Он толкает незапертую дверь в номер. Юлия не спит.

— Ну и как? — приподнимается с подушки. — Получилось?

— Не надоело?

Он стягивает рубашку и брюки у гардеробного шкафа.

— Неужели не вышло? — мстительный смех. — Ну и ну! С твоим-то опытом.

— Нужны подробности? — он достает с полки одеяло, тащит на балкон.

— О, только не это! — картинное затыкание ушей. — Мне достаточно того, что я знаю.

Он лежит без сна на балконе, смотрит на россыпь звезд над головой. Невероятно: ночь напролет проговорил с женщиной! Вместо того чтобы найти поскорей местечко на пляже («Раздевалки, ну!») и терзать без конца. Мучила весь вечер, водила, как ручного крокодила на веревочке, наслаждалась его послушанием, пьяной влюбленностью.

Помахали рукой уходившим в сторону «Гладиолы» Томашу и Юлии. Шли босиком вдоль берега с туфлями в руках, останавливались, пили из горлышка прихваченное со стола «Цимлянское».

— Я не хотела идти на эту встречу, — говорила Петра, — настоял муж. Мысль, что придется болтать о том, как мы, чехи и словаки, любим советский народ, гордимся дружбой с вами, казалась мне отвратительной. После того как ваши вожди задушили Пражскую весну, с любовью между нами покончено.

— Я ничего не понимаю в политике. Не хочу понимать. У джазменов есть понятие: игра в комба, квадрате. Я играю в своем квадрате. Чтобы не потерять основную тему.

— А какая у тебя основная тема?

— Театр.

Сидели на холодном песке, смотрели, как убегает в просторы моря лунная дорожка в перламутровой ряби.

— Нам надо было родиться в одно и то же время, жить на одной улице, учиться в одной школе, — она прислонилась к его плечу. — Ты мой мужчина, я это почувствовала, как только увидела тебя в дверях с букетом цветов. У тебя был такой взгляд...

— Какой?

— Ты будто высматривал меня. Знаешь, так бывает на вокзалах, в аэропортах. Люди, пришедшие встретить своих близких, тянут шеи, становятся на цыпочки, всматриваются в проходы, в которых должны показаться прибывшие.

— Вот ты и прилетела...

Он целовал ей глаза, волосы.

— Не надо, Леша, — она перехватила у себя на колене его руку.

Он возобновил попытку, она резко встала.

— Я же сказала — нет!

Черта с два проявил бы он слабость, ничто бы его не остановило. Но остановило! Отрезвевшего на свежем ветерке, смотревшего с обожанием на странно изменившееся в лунном свете ее лицо с темными провалами глазниц.

— Не сердись, милый, — звучало рядом дивное сопрано. — Я чувствительная, это у меня с детства. Там, в отелях, не спят двое, ждут нашего возвращения. Томаш и твоя жена. Знаю: вы, мужчины, болезненно переживаете отказы. Рыбка сорвалась с крючка. Это бьет по вашему самолюбию...

Они подходили к сиявшему огнями отелю.

— Ты будешь прекрасным моим воспоминанием, — улыбнулась печально. — Давай договоримся. Когда нам обоим станет невыносимо, ты дашь мне знать, и я прилечу к тебе в Казань. На одну ночь. Будем любить друг друга, как в последний час жизни. Согласен?

Махнула рукой, побежала, не оборачиваясь, наверх.

8

«Белеет ли в поле пороша, пороша, пороша, белеет ли в поле пороша иль гулкие ливни шумят, — звучит в салоне автобуса, — стоит над горою Алеша, Алеша, Алеша, стоит над горою Алеша, Болгарии русский солдат».

Он подпевает вполголоса, смотрит в окно. Убегающие зеленые холмы, безымянная речка с домиками на пологом берегу, за заборами висящие пачками на стремянках лопухи сухого табака.

«А сердцу по-прежнему горько, по-прежнему горько, что после свинцовой пурги из камня его гимнастерка, его гимнастерка, из камня его гимнастерка, из камня его сапоги».

Поющая рядом Юлия утирает платочком глаза.

— Замечательный памятник советским воинам, который наш народ любовно называет Алеша, — слышится с переднего места голос Яны, — мы с вами, товарищи, увидим, когда приедем в Пловдив. А пока давайте поаплодируем его тезке, члену нашей группы Алеше в красивых голубых шортах и его жене, которые так прекрасно поют.

Смех, аплодисменты, они с Юлией картинно раскланиваются.

Яна, перегнувшись, говорит что-то сидящей напротив Явдохе, оборачивается.

— Через двадцать-двадцать пять минут, — старается перекричать шум двигателя, — прибываем в древнюю болгарскую столицу Велико Тырново.

Вечерело, «Икарус» с натугой полз между скалистых кряжей. Миновали один поворот, другой, третий, проехали по мосту — пассажиры прильнули к окнам, — впереди, в розовеющем закатном свете, изумленному взгляду открылось нечто совершенно нереальное: возникшая, словно по мановению волшебной палочки, театральная декорация средневекового городка на изумрудных холмах, омываемого с трех сторон извилистой рекой в каменном ложе.

Автобус спускался вниз, декорация укрупнялась, театральный городок с карабкавшимися вверх этажерками, один над другим живописными домиками под красными и коричневыми крышами оживал, наполнялся звуками, по мощным улочкам с лавками и магазинчиками проходили вполне реальные люди, проехала со скрипом нагруженная мешками телега, прокатил на велосипеде, вертя с натугой педали, парень в шляпе с девушкой на заднем сиденье.

Вечером, после ужина в стилизованном под харчевню ресторане отеля, они вышли с Юлией на небольшую площадь, встали, опершись на балюстраду, над пропастью. Темнели на соседнем холме стены крепости, трехглавый собор с колокольной, мигали в подножии огоньками мастерские квартала ремесленников.

— Леша, слышишь?

Минуту они стояли, прислушиваясь. Нестройное пение, звуки бубна и флейты. Со стороны развалин римского акведука двигалась в их сторону процессия.

— Давай посмотрим!

Взявшись за руки, они заторопились вниз по каменным ступеням, одолели несколько поворотов, остановились пораженные. По улице, в окружении шумной толпы, двигалась украшенная цветными гирляндами и лентами телега, запряженная волами, на которой восседала на обитом жестью сундуке волоокая дева в венке и монистах.

Цыганская свадьба!

На мгновение ему показалось, что перед ними талантливо разыгрываемая массовка, придуманная для развлечения прибывших в город нескольких туристских групп — настолько все было экзотично, театрально, такая типажность у нарядно одетых парней, загорелых девушек, нетрезвых музыкантов, путавшихся под ногами кудрявых мальчишек. Шедший впереди бородатый великан в синих шароварах и остроконечной войлочной шляпе, как оказалось отец невесты, остановил, увидев их, повелительным жестом процессию. Поднес каждому, поклонившись, по стакану мутной раки, по палочке шашлыка. Запряженные волы с вплетенными в рога бумажными цветами внимательно следили, позвякивая бубенчиками, за тем, как они одолевают под аплодисменты семидесятиградусный убойный самогон, идут к телеге, поздравляют сидящую на сундуке невесту.

Театральный дивертисмент продолжился на другой день представлением бродячего цирка сеньора Умберто в зеленом театре. Все как положено: иллюзионист мистер Сенко во фраке и котелке, зависавшая в воздухе со сложенными руками по мановению волшебной палочки полуголая сонная дива с медными чашечками на груди. Переглядывание, изумление в зрительских рядах при виде наполнявшихся красной жидкостью пустых бокалов. Гробовая тишина под тревожное тремоло барабанов — сочетавший директорство с должностью укротителя диких зверей сеньор Умберто засовывал голову под наблюдением ассистировавших ему жены и дочери в пасть гривастому льву. Ужас, катарсис, грохочущие барабаны разрывают ушные перепонки. Виват, брависсимо! — невредимая голова сеньора Умберта извлекается под радостные крики из львиной пасти...

Листая дома по возвращении блокнот с путевыми записями, перебирая открытки, он вспоминал с легкой грустью оставшуюся по ту сторону театрального занавеса десятидневную одиссею на колесах. Долгие часы в дороге, проносящиеся за окном пейзажи, села, города. Случайные встречи, знакомства. Официантов придорожного бистро, кивавших утвердительно головами (у болгар этот жест означал «нет») в знак того, что не хотят брать денег с советских туристов за минеральную воду и кофе. Русского батюшку отца Иосифа, настоятеля храма Спасителя Христа в деревне Шипка, расчувствовавшегося от встречи с земляками, позволившего им подняться на колокольню и негромко позвонить в колокола. Провожавших с придорожных холмов ленивыми взглядами «Икарус» черных буйволов с ухоженными бородами.

Они побывали в скальном монастыре двенадцатого века в окрестностях Варны, побродили среди катакомб в известковой отвесной скале, где обитали христианские отшельники. Переночевали на Шипкинском перевале. Гостиница с необъятными кроватями и закопченными ставнями, догорающие угли в камине. Утром стояли на пронизывающем ветру среди могил участников русско-турецкой войны, смотрели на окутанную туманом вершину Столетова с памятником воинам-освободителям и болгарским ополченцам. Заехали в передовой сельскохозяйственный кооператив, осмотрели фермы и огороды, выслушали рассказ специалистов о структуре и эконо-

мике хозяйства, подняли за дружеским столом тосты за советско-болгарскую дружбу. Видели, проезжая, Пловдив, каменного «Алешу» на постаменте в плаще и с автоматом в руке. Остановились ненадолго возле базарчика в Казанлыке, дожидаясь, пока женщины под руководством Яны покупали у местных торговек ароматическое масло из знаменитых казанлыкских роз.

Снова дорога, холмы, перелески, раздавленная автомобильными шинами перезрелая слива на обочинах шоссе. Ночь в национальном парке в окрестностях Софии, красавица столица на живописных склонах массива Витоша.

На знакомство с красавицей сил не оставалось. Отлынули под благовидным предлогом (все та же ужасная мигрень у Юлии) от обязательного посещения мавзолея Георгия Димитрова. После обеда вышли вдвоем прогуляться.

Юлия вела себя сдержанно: «Да», «Нет», «Хорошо», «Не знаю». Роль второго плана. О случившемся на «Золотых песках» ни слова. Компромат, судя по всему, был отложен на потом. Обошли вокруг храма-памятника Александру Невскому на одноименной площади. Красиво. Постояли возле конной статуи императора Александра Второго с табличкой на постаменте «Царю-Освободителю». Любопытно. Национальная художественная галерея? Музей социалистического искусства? Археологический музей? Спасибо, на сегодня достаточно, вечером у нас поход в театр: Яна приобрела для желающих сравнительно недорогие билеты на гастрольный спектакль Московского театра имени Маяковского «Мамаша Кураж и ее дети»...

Сидя в самолетном кресле Ту-154, летевшего из Софии в Москву, он вспоминал прошедший накануне вечер в Национальном театре имени Ивана Вазова. Магия, чудо! — ничего другого не приходило на ум. Прежде всего, от потрясающей игры исполнительницы главной роли Юдифи Глизер, о которой, к стыду, ничего не знал. Оставил попытку с появления на сцене впряженной в повозку женщины в стоптанных башмаках записать что-то в блокнот, забыл о профессии, о том, что понимает толк в механизме театрального действия. Сидел зачарованным зрителем, с открытой душой, как давным-давно, в кукольном театре, когда готов был пожертвовать жизнью, чтобы спасти правдивого зайца. Не было ни малейшего сомнения, что перед ним никакая не актриса театра Маяковского в исторических одеждах и гриме, а реальная, из плоти и крови, маркитантка Анна Фирлинг, по прозвищу Мамаша Кураж, сопровождающая с мелочной лавкой шведское войско. Происходящее на сцене невозможно было назвать привычным понятием: перевоплощение в сценический образ. Был абсолютный уход в иную сферу. Циркулирование живой крови, реальное существование в пространстве «мелового круга» бывалой, циничной торговки, заплатившей кормилице войне нечеловеческую цену — жизнь троих детей. Постановщик, известный артист Максим Штраух, отошел от сложного для зрительского восприятия брехтовского принципа «эпического театра» с его превалирующей над чувствами плакатностью и диктатом разума, сосредоточил внимание на эмоциях живых людей с их пороками и слабостями, дал возможность исполнителям прожить на пределе каждое мгновение, заставить поверить в себя, потрясти.

Врезался в память финал. У ступени деревенского дома, где только что расстреляли из аркебузов немую Катрин, Мамаша Кураж с растрепанной гривой седых волос отсчитывает гильдены крестьянину, согласившемуся похоронить ее дочь.

М а м а ш а К у р а ж : Вот вам деньги на расходы (*впрягается в фургон*). Надеюсь, и одна справлюсь с фургоном. Ничего, вытяну, вещей в нем немного. Надо опять за торговлю браться.

Со свистом, под грохот барабанов проходит еще один полк.

Ма м а ш а Ку р а ж (*трогается с места*): Эй, возьмите меня с собой!

Спектакль потряс, полоснул по живому, вызвал в памяти прокатившуюся недавно смертельным катком по Европе войну. Миллионные ее жертвы, палачей.

Публика не расходилась, аплодировала стоя, летели на сцену цветы. Выходили один за другим на прощениум, кланялись исполнители, постановщик, художник-декоратор. Неподвижно, не шелохнувшись, стояла в центре опустошенная, с осунувшимся лицом маркитантка Анна Фирлинг, смотрела отрешенно в пространство зала, где летели в вышине души ее убитых детей.

9

Осенью умерла генеральша. Прожила чуть больше года после операции (рак груди), таяла на глазах. Измученная Юлия ездила каждый день после работы в слободу, возвращалась поздно вечером, уходила без слов к себе в спальню.

За умирающей согласилась ухаживать Кувалдиха. Кормила с ложечки, купала, менила белье, таскала из аптеки баллоны с кислородом, колола обезболивающее. От денег отказалась, попросила отдать после смерти генеральши оставшуюся мебелишку и пожитки.

— А то и балок куплю, коли не возражаете.

Позвонила в один из дней Юлии на работу:

— Приезжай, кончается вроде.

Они сидели у постели тещи — высохший полутруп с провалившимся ртом неожиданно заволновался, сделал попытку привстать.

— Что тебе, мама? — наклонилась над подушкой Юлия. — Пить?

— Кто эта женщина? — едва различимый шепот в ответ. — Я ее не знаю...

— Где, мама?.. — Юлия гладила мать по лбу. — Там никого нет...

— Женщина, — шепот умирающей, — смотрит...

Обессиленные, они задремали ночью, сидя на кухне. Он очнулся первым, привстал с табуретки. Мутный рассвет за окном. В соседней комнате странная, неживая тишина.

Шагнул за порог, щелкнул выключателем. Генеральше лежала, раскинув руки на скомканной постели, смотрела остекленело в потолок.

Юлия боялась подойти к матери. Стояла, отвернувшись к стене, замотала головой, когда приехавший врач «Скорой», засвидетельствовавший факт смерти, попросил ее подойти к постели и подтвердить, что покойная (врач держал перед глазами паспорт тещи) действительно гражданка Серегина Зинаида Николаевна, русская, тысяча девятьсот третьего года рождения, беспартийная, прописанная по адресу...

— Разрешите, я, — шагнул он к изголовью кровати. — У жены не в порядке с нервами...

Хлопоты легли на его плечи. Нашел, проплутав больше часа по городу, артель по изготовлению гробов и предметов похоронного обряда. Заведующий объяснил: покойную надо сначала привезти из мертвецкой, обмерить. Гроб сколотят в течение суток, со стройматериалами напряженка, на всякий случай лучше оставить аванс.

В больницу, куда «скорая» увезла тещу, они поехали с Кувалдихой на нанятой полуторке. Предъявили в регистратуре документы.

— Дойдете до конца аллеи и направо, — дежурная протянула из окошечка пропуск. — Мертвецкая сразу за кочегаркой.

В похожий на товарный склад подвал они спускались по крутым ступеням в сопровождении санитаря. Шагнули через оцинкованную дверь в дохнувшее ледяным холодом и смрадом полутемное помещение.

— Смотрите, где ваша, — санитар в застиранном мятом халате закурил папиросу. — Недавние ближе к окну.

Тещу нашли не сразу.

Кувалдиха вскинула на руки труп. Шагала по-солдатски вдоль аллеи в сторону нижних ворот, где стояла полуторка. Сидела на расстеленной в кузове дерюге, придерживала подпрыгивающую на ухабах, безразличную ко всему на белом свете соседку с синюшным лицом. Взяла «по семейным обстоятельствам» отгул в райисполкоме, была по молчаливому их согласию распорядительницей траурной церемонии. Вводила по очереди шедших проститься с покойной соседей, стояла рядом с выкупанной, чисто одетой генеральшей с перевязанными крест-накрест руками, отгоняла мухобойкой мух. Вернула приехавшим артельщикам после прикидки привезенный гроб: велик, ноги покойной не достают до задней стенки.

— Ты чего, мать? — полезли те на нее. — Обратно вертать?

— О приметах слышали, голуби? — рявкнула член партии послевоенного призыва. — Просторный гроб — для нового покойника! Пока не исправите, денег не дам! И в газету пропишу!

Торговалась с шофером катафалка, цыкнула на небритых, с похмелья, могильщиков:

— Как договорились! По десятке каждому и бутылка водки.

Руководила поминками, осталась с дочерью Недбайло Клавкой привести в порядок комнату и перемыть посуду. Пошла их проводить, села неожиданно на скамейку в палисадничке с зажженной папиросой, запричитала, горько, надрывно:

— Ой ты, душа моя Николавна! На кого ты, душа моя, нас покинула!

— Идем! — испуганно тащила его к выходу Юлия.

— Какова горюшка ты мне, Николавна, да прибавила! — слышалось за спиной.

10

Мальчишник на этот раз проводили у Бори. Поводом послужил, во-первых, купленный на воскресном базаре взамен проданного до этого «запорожца» почти новый «Москвич-412», в котором компания прокатилась с хохотом по двору, во-вторых, намечаемая Борина женитьба на профессорской дочке, работавшей стоматологом в правительственной поликлинике, куда Боря попал с больным зубом благодаря связям Арнольда.

Перезрелая профессорская дочка, по словам Бори, возлежала, пломбуя зуб, пылающими сиськами у него на груди, жаловалась на скуку, оживилась, узнав, что он фотохудожник, напросилась в гости, посмотреть его работы.

— Спросила, не еврей ли я, случайно.

— Ну?

— Ответил, что, случайно, еврей. Оценила, баба с юмором. И титьки, в общем, вполне.

— В хозяйстве сгодится, — хохотнул Гоша.

Потенциальную Борину невесту звали Изольда Келестиновна Хмельницкая-Иоффе. Папа — профессор мединститута, мама — председатель комиссии народного контроля при городском комитете партии. Двухэтажный дом в Заречье, сад, новенькая «Волга» в гараже.

— Никаких сомнений, женись, — откупоривал бутылку Арнольд. — И фамилию профессорскую возьми. Представляешь: у входа на персональную выставку афиша: фотохудожник Борис Хмельницкий-Иоффе. Звучит. Не то что Митрохин. Никакого сравнения.

— Стоит подумать, — Боря придирчиво обозревал содержимое стола.

— И думать нечего. Книппер-Чехова не думала.

Выпили, закусили.

— Дом получишь в наследство, — Арнольд откинулся в кресло, полуприкрыл глаза. — Со львами у входа. На гранитной ступеньке «сальве» цветными камешками.

— Это еще что за хреновина? — воззрился на приятеля Гоша.

— Господи, с кем я сижу за столом! — у Арнольда вскинутые торчком брови. — Не знающие латыни невежды. О, горе мне!.. Дом со львами, ребята, это, я вам доложу, — продолжал ораторствовать. — Вот я, допустим. Живу вроде в нормальных условиях. Три комнаты в пятиэтажке, лоджия. А в мечтах собственный дом. С коридорами, переходами, закоулочками, таинственными уголками. Антресоли, библиотека. В старом комоде с облупившейся краской найдешь неожиданно завернутый в пергамент пухлый альбом с черно-белыми фотографиями и открытками, будешь объяснять детворе: это бабушкина свекровь, игравшая по вечерам в синема тапершей, это двоюродный дядя отца, голубой гусар, стрелявшийся из-за женщины в Тифлисе, это, честно говоря, не помню кто, вроде бы мамин воздыхатель, семинарист, продолжавший любить ее, вышедшую замуж за другого, до конца дней, посещавший ее могилу, оставивший на плите букетик ее любимых игольчатых хризантем.

— Ну тепло, — восхищенно крутил головой Гоша. — Люблю слушать. Не поймешь о чем, но красиво.

— Внемли и постигай, живописец! — Арнольд разливал по рюмкам. — Дом, Гошенька, гавань среди бушующих волн враждебного мира. Хранитель памяти, счастливых и печальных событий, приездов гостей, свадеб, похорон. Вообрази: старая липа в конце двора, зацветающая позже других деревьев. Волнующий ее медовый аромат, перелетающие со сладких соцветий, отяжелевшие от щедрых взяток осы. Седой ворон на заборе, равнодушно глядящий на суету вокруг. Паучишко в углу, обходимый влажной тряпкой во время уборки, подтягивающий по-рыбацки к голодному брюшку серебряное кружево нитей, в которых гудит в предсмертной молитве запутавшаяся, переставшая сопротивляться муха. Поздние ужины на веранде, рой мошкары вокруг углового фонаря, строгий голос бабушки на пороге детской: «Это еще что такое! Спать, спать, завтра рано в школу!»

— Тургенев, стихотворения в прозе, — отзывался он. — Тебе, дураку, повести и романы писать, а не Гордоном Крэгом голову морочить.

— А что, возьму и напишу!

Голоса наперебой:

— Напиши, родненький!

— «Дом с мезонином»!

— «Дом на набережной»!

— «Домби и сын»!

Смех, звон посуды, бульканье влаги.

Борин возглас:

— За тех, кто в море!

Борю Арнольд называл «больная совесть наша». Премии на международных выставках, «капуста» в хрустящих кредитках, которую привозил с летних фотонабегов в отдаленные села и аулы, где снимал в течение светового дня в профиль и анфас переодиков труда для досок почета, приехавших на побывку солдат, многодетные семьи по отдельности и вместе, памятники на кладбищах. Грудастая Изольда, двухэтажный

профессорский особняк, новенькая «Волга», дорогая аппаратура из коммисионок. Живи, кайфуй. Нет, постоянно взволнован, критикует, негодует. Выслали Аксенова, чинят препятствия выезду евреев на историческую родину, не могут ни хрена наладить выпуск нормальной фотобумаги и пленки.

Поехали опробовать новый спиннинг Арнольда и заодно порыбачить на старый затон. Безлюдье, свежий воздух. Два пол-литра на посланной скатерке, хлеб, консервы. Бабочки летают, кузнечики, отдыхай, человек, дыши полной грудью! Нет же! После первой стопки:

— Какой, на хрен, спиннинг, рыбы давно в Волге нет. Когда вы последний раз стерлядку паровую пробовали, а? То-то же. Угробили осетровых. Волжскую ГЭС построили, реку плотиной загородили. Рыба не может добраться до нерестилищ. Уроды!

Помолчали, взяли по второй. Можно поговорить на подходящую тему. О футболе, о бабах, в конце концов.

— Вам нормально в этом болоте? — Боря цепляет вилкой судака в томате, смотрит с отвращением. — Тебе, Леша?

— В каком смысле? — отзывается он.

— Да в любом. Жизненном.

— Мне нормально. Я и без стерлядки себя неплохо чувствую.

— Хорошо, скажи тогда, пожалуйста...

— Пожалуйста...

— Нет, ты не финти! Прямо говори!..

— Прямо? Ты же не слушаешь ничьих доводов!

Отдых на природе называется. Разговор на повышенных тонах, неделю после этого не видятся.

Юлия как бы между прочим за столом:

— Опять не поделили чего-то с Борей?

Он в сердцах:

— Мы не поделили с ним родину!

Пришло из Москвы на бланке президиума ВТО персональное приглашение на теоретическую конференцию «Театр и современность». Четыре дня в столице, возможность встряхнуться, побыть среди своих, узнать о новостях. Ехал в мягком вагоне (оплата в оба конца за счет организации), устроился в одноместном номере гостиницы «Минск»: десять минут пешком до Центрального Дома актера, где проходили пленарные заседания и работа секций. Прошел регистрацию, набрал на информационном столике кучу брошюр и проспектов, получил, расписавшись, два бесплатных билета: один в Большой, на балет «Спартак» («здорово, давно мечтал!»), другой на «Турандот» в Театр Вахтангова. Пробежал бегло тезисы выступлений, записался, подумав, в секцию Аникста «Играем Шекспира» и в другую, на тему «Есть ли будущее у телевизионного театра?» руководимую критиком и драматургом Александром Свободным, чьи публикации в «Театре» соседствовали нередко с его собственными.

Большой зал на втором этаже с окнами на площадь Маяковского, обязательный (на полтора часа) основной доклад председателя правления Михаила Царева «В долгу перед народом». Мука смертная! В креслах листали брошюры, кашляли, зевали, переговаривались шепотом, глядели в потолок. Слегка косивший, с серебряным хохолком на лбу, великолепный Чацкий из фильма-спектакля «Горе от ума» уныло мямлил с трибуны прописные истины, пил воду, вытирал платком вспотевшее лицо.

— ...Позвольте заверить еще раз от лица всех участников нынешней конференции...

Тучный сосед по креслу привстал с места.

— Все, коллега, выходим! — подтолкнул плечом.

Оживший зал загудел, задвигал креслами, устремился радостно к выходу.

Выйдя из туалета, он пристроился в очередь к буфетному прилавку, взял бутерброд с колбасой, бутылку «Жигулевского», присел за столик.

Вокруг курили, переговаривались, слышался смех. Прогуливались по коридору (он вертел по сторонам головой) знаменитости, корифеи. Прошли в двух шагах веселоглазый Михаил Жаров, державший под локоть всесоюзного красавца Евгения Самойлова. Остановились неподалеку со стаканами в руках Мария Миронова и Александр Менакер, о чем-то оживленно говорили.

— Здравствуйте, земляк! — дребезжащий тенорок. — Рад видеть. Как пиво?

Белокуров! Шальные глаза с прищуром, благоухает коньячком. Он поднялся с места.

— Здравствуйте, Владимир Вячеславович! — подвинул стул. — Присаживайтесь.

— Нет, нет, бегу, дорогой! У меня съемки в Одессе. Опаздываю на поезд. Будете еще в Москве, звоните, помогу с билетами. Все, улетел! — помахал на ходу руками.

Белокуровым он восхищался. Личность, талант от Бога. Познакомился со знаменитым исполнителем роли Валерия Чкалова в одноименном фильме во время гастролей МХАТа в Казани, был на знаковой постановке театра «Мертвые души» с последними могиканами старой школы, работавшими еще со Станиславским: Алексеем Грибовым (Собакевич), Борисом Ливановым (Ноздрев), одной из великих «театральных старух» Анастасией Зуевой, игравшей Коробочку.

Белокуров-Чичиков в созвездии мхатовских кудесников был изумителен, неповторим. Не просто узнаваем. «Не красавец, — по Гоголю, — но и не дурной наружности, не слишком толст, не слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так чтобы слишком молод». Манеры: обходительность, вкрадчивый голос, умение нравиться — все это было, играло, лепило от мизансцены к мизансцене образ, пока — о чудо театра! — в атмосфере зрительного зала не стал задувать все сильнее гоголевский, от «Вия», ветерок чертовщины: реальное смешалось с ирреальным, а на бритом, сладко улыбающемся лице главного персонажа поэмы в костюме коричневых и красноватых цветов с искрой, «какого не носила вся губерния», промелькнула неожиданно гримаска представителя потустороннего мира, человека греха, искусителя, словно бы выпавшего из приснившегося «третьего дня» Коробочке страшного сна.

Он взял тогда по окончании спектакля короткое интервью у Белокурова в гримерной. Тот сидел в кресле у зеркала, мазал лицо вазелином. Распахнутая на груди сорочка, встрепанные волосы, чичиковский смятый парик с хохолком на столике. Не остыл от роли, взглядывал с веселым прищуром.

— Не первый год замужем, — откликнулся на вопрос о работе над ролью. — Жизнь повидал, накопил кой-чего про запас. Помните русскую поговорку: «Старый конь борозды не испортит»? Это про меня. Шоры надень, пройду по борозде вслепую... Как вас по батюшке, простите? — припудривал бархоткой лицо.

— Юрьевич, — отозвался он.

— Что если нам с вами, Юрьевич, — Белокуров отворил дверцу гримерного шкафчика, извлек бутылку, стакан, — что если нам чуточку того? Вздрогнуть. Грузинский, «Греми», — налил на треть. — Давайте, вы первый, — протянул стакан. — За Николая свет Васильевича.

Он видел потом Белокурова во многих ролях, и в театре, и в кино. Старый конь (ему было к тому времени далеко за шестьдесят) пахал без огрехов: что ни спектакль, кинофильм — яркий образ, положительные отклики в печати. Народный артист СССР,

два ордена Трудового Красного Знамени, Сталинская премия второй степени за исполнение роли С. А. Чаплыгина в фильме «Жуковский». Преподавал в ГИТИСе, снимался на телевидении, записывался на радио, выступал на эстраде. Увел от мужа во время съемок фильма «Долгий путь» исполнительницу главной роли Кюнну Игнатову, бешено ревновал молодую, бывшую на тридцать лет моложе жену, ставил режиссерам условие: сниматься будет, если Кюнне дадут роль в картине. Был не последним среди охочих заложить за воротник собратьев по профессии, пил регулярно, артистично: «не пьян, но водкою разит». Мхатовский шутник Борис Ливанов приклеил однажды, улучив момент, под табличкой «Народный артист СССР, лауреат Государственной премии, профессор Владимир Вячеславович Белокуров» на двери гримборной приятеля листок: «Ежедневный прием от 500 до 700 граммов». Стены театра, говорят, содрогались в тот день от гомерического хохота.

Научная часть конференции была замечательной. Благодаря в первую очередь руководителю шекспировского семинара Аниксту. Слушая в уютном зале главного специалиста по Шекспиру, он думал: именно таким должен быть ученый-театровед, вообще любой исследователь. Литературы ли, театра, живописи, неважно! Энциклопедист, умница, знает о предмете решительно все и еще чуточку сверх того, и это «сверх того»: предположения, догадки, находки, открытия — и есть главное. Смысл работы, ее привлекательность. А какой язык, как формулирует мысль! Седовласый, с черными кустистыми бровями, безупречно одет.

— Уильям Шекспир, — рассказывал вдоль кафедры, — был человек театра. Свои драмы он предназначал не для читателей его собственного времени или тем более грядущих веков, а для зрителей театра «Глобус». Шумной толпы лондонского простонародья, от суда которого зависела судьба его комедий, трагедий и драматических хроник. Успех или провал «Гамлета», «Короля Лира», «Бури». Драма в шекспировскую эпоху только начинала формироваться как собственно литературный род. Произведения драматических авторов традиционно считались принадлежащими театру, только ему одному. Пьесы не воспринимали вне сценического представления. Шекспир видел в пьесах единственный материал для сцены и не стремился издавать их. Они часто попадали в печать помимо, а то и против его воли. Нередко тексты пьес попросту похищали, чтобы опубликовать их без дозволения трупп, которым они принадлежали. Так вышло, например, с «Гамлетом». Подкупленный издателем или конкурентами актер шекспировской труппы, игравший роль стражника Марцелла и еще несколько маленьких ролей, по памяти записал текст трагедии, и она была издана пиратским, как мы сейчас говорим, образом. Такой же была участь многих драматургов английского Возрождения. Но даже когда пьесы публиковались законно, это вызывало сопротивление сочинителей, не желавших, чтобы их произведения получали жизнь за пределами подмостков. Младший современник Шекспира Джон Марстон жаловался, что сцены, которые пишут для того, чтобы их произносили, вынуждают печатать для чтения...

В зале тишина, глухой шум проезжающих машин за окнами. Аникст отпивает воду из стакана.

— Заходите, товарищи, — приглашает толпящихся у входа участников конференции, сбежавших из других семинаров, чтобы послушать знаменитого литературоведа и теоретика западноевропейского театра. Ждет, пока вошедшие устраиваются вдоль стен.

— Актерское мастерство, — продолжает, — об этом Шекспир знал не понаслышке. Жизнь, проведенная на подмостках, научила его безошибочному чувству театральной

природы драматического сочинения. Структура его пьес определялась устройством театра. Поэтику шекспировской драмы нельзя понять вне системы условностей елизаветинской сцены. Сочиняя пьесу, Шекспир, в сущности, создавал театральное представление. Он в точности знал, как будет выглядеть на сцене «Глобуса» каждый момент действия, кто и как будет играть в пьесе, приспособлял роли к свойствам дарования и внешности актеров. Поэтому нам не нужно удивляться, когда Гертруда в финале «Гамлета» называет принца тучным и одышливым: Ричард Бербедж, для которого была написана роль Гамлета, был в тысяча шестьсот первом году, когда играли пьесу, господином весьма плотной комплекции. Заметьте, кстати, что главный герой трагедий Шекспира от пьесы к пьесе становится старше. Юный Ромео, затем тридцатилетний Гамлет, затем зрелые воины Отелло и Макбет, затем старец Лир. Герой стареет потому, что старше становится премьер труппы, он же главный ее пайщик...

Во время дискуссии зашел разговор об авторстве свода пьес, приписываемых Шекспиру, незатихающем споре страдфордianцев и нестрадфордianцев. Мог ли создать величайшие творения мировой драматургии выходец из простонародья, сын неграмотных лавочников? Автор, у которого так и не обнаружили ни одного экземпляра пьесы или сонета, написанных от руки, после которого не осталось ни одного подлинного портрета? Старшая дочь которого в двадцать семь лет не умела читать и писать. Оставивший завещание, в котором делается оговорка о подержанной кровати и большой позолоченной вазе и ни словом не говорится, кому завещается самое ценное его достояние — рукописи.

Аникст улыбался, слушая вопросы.

— Как, по-вашему, — спросил неожиданно, — «Илиаду» действительно написал Гомер?

Зал на мгновение затих, чей-то смешок в креслах.

— Я серьезно. Троя, как известно, пала в тысяча двести двадцать втором году до нашей эры, а Гомер жил много позже, в восьмом веке до нашей эры, был слепым, письменного изложения Троянской войны в его время не существовало. Кто-то, следовательно, устно должен был поведать ему об извивах и перипетиях грандиознейшего события древности, а он сочинить и удержать в памяти текст, который занял впоследствии, когда два величайших его творения были напечатаны, сотни страниц, более миллиона типографских знаков. В это можно поверить, скажите? Вы в это верите? Я — да! Объяснение всех этих парадоксов одно — гениальность сочинителя! И ничего больше. «Илиаду» и «Одиссею» написал Гомер. А «Гамлета» Шекспир. И — точка! — под громкие аплодисменты...

Несколько раз он видел мельком Радунского. Вылезавшего на тротуар из машины у центрального входа, бежавшего по коридору, покупавшего что-то в газетном киоске. В обеденный перерыв они закусывали в ресторане с Александром Петровичем Свободным, с которым он познакомился на семинаре. Ели наваристую сельянку, говорили о недавно поставленной в «Современнике» пьесе Свободина «Народовольцы», о горячо обсуждаемой новости — уходе после серии разгромных статей с поста главного редактора «Нового мира» Александра Твардовского. В ресторане было шумно — входили и занимали места, расплачивались с официантами, обнимались в проходе. Они курили за десертом, когда в дверях показалась рыжая шевелюра Радунского. Поискав кого-то глазами, вскричав: «От народа не скроешься!», тот устремился к столу у окна, за которым обедали Анатолий Эфрос и его сценическая муза Ольга Яковлева. Расцеловался с обоими, что-то стал говорить, склонившись над Эфросом (тот смотрел на него с тревогой), шепнул на ухо Яковлевой (актриса сделала вид, что падает в обморок), вскричал патетично: «Разрази меня гром, если это не так!», устремился к выходу.

— Лицедей! — посмеивался Свободин. — Не наигрался в детстве. Случись родиться в другие времена, гремел бы с афинских площадей, обаял красноречием толпу.

— А ведь талант, Александр Петрович.

— Талант замечательный. Дай срок, заткнет всех нас за пояс. Это он только со стороны такой, шалун-мальчишка. А хи-итренький.

11

Дома его ждал сюрприз: Юлия сообщила, что беременна. Смотрела вопросительно. Он не знал, что ответить, присел на диван.

— Я уже решила.

— Что именно?

— «Что именно». Рожать. Ты, конечно, против?

— С чего ты взяла?

— С того самого.

Пошла в спальню, хлопнула дверью.

Очередная война на истощение: перестаем разговаривать, ночуем у подруги. Настроение хуже некуда, дела валяются из рук. Сидел тупо у телевизора, накуривался до одури. Пил по утрам прокисший кефир, вырезал аккуратно ножом съедобные места из куска заплесневелого сыра. Обедал в соседней закуской: салат из огурцов-мутантов, тошнотворная мерзость с плавающими в коричневой жиже кусочками мяса, сизый студень под названием кисель.

О желании иметь ребенка разговора между ними не заходило. <...>

Близко общаться с детьми ему не приходилось. Арнольд с женой, тоже доктором наук, были бездетны, Боря только-только женился, тихо спивавшийся Гоша выплачивал алименты на троих детей, мальчика и двух девочек, рожденных от трех работавших у него в разное время натурщиц. Проходя вечерами по двору мимо огороженной канавкой детской площадки, на которой играли в футбол пацаны, он кивал в сторону сидевших под навесом женщин с колясочками, стоял минуту-другую, наблюдая, как спускают на бечевке с балкона на голову задремавшего уличного забулдыги дохлую мышшь бандюги-дошколята Грызловы из тринадцатой квартиры, разрисовывавшие периодически углем стенки подъезда. Все это было постороннее, отвлеченный фон наподобие городского шума с магистрали. Шагнешь за порог квартиры, захлопнешь обитую дерматином дверь: тишина, ты в своем удобном, комфортном, привычном мире.

Ему к тому времени было тридцать три, Юлии тридцать девять. Ни разу за время их связи ему не приходило в голову поинтересоваться возрастом любовницы. Юлия выглядела молодо, моложе своих подруг, моложе, как ему казалось, его самого. Даже теперь, на пороге сорокалетия, ей нельзя было дать ее лет. То, что он женился на женщине старше себя, он узнал только во время регистрации в загсе. Увидел год ее рождения в раскрытом паспорте на столе сотрудницы, оформлявшей документы, поморщился: ничего себе новость! У сидевшей рядом Юлии было выражение студентки, пойманной на экзамене со шпаргалкой. Теряла замочек перламутрового кошелька на коленях, смотрела в сторону. Помятая, уставшая.

Неудобную тему о возрасте оба потом избегали, для друзей и знакомых (так было негласно решено) они были ровесники, предстоящие роды преподнесли как взвешенное, хорошо обдуманное решение. Юлия ходила на обследования, сдавала анализы. Внешних признаков никаких: стройная фигура, обтянутый животик. Разве что несколько темноватых пятен на лице, которые она усиленно припудривала.

Он накопил в научном отделе «Книжного мира» на Баумана кучу популярных брошюр по вопросам материнства и детства, читал, ставил на полях восклицательные знаки. Опасность для женщин, рожающих в немолодом возрасте, действительно была, на этом сходились все авторы, вероятность аномалий у рожденных ими детей была на порядок выше, чем у молодых.

Он написал матери: отговори жену от авантюры! Приехавшая спустя короткое время мать встала неожиданно на сторону невестки: правильно, умница, давно пора. Бабы в деревнях и за пятьдесят лет рожают. Крепенькая, здоровенькая, родишь, как из пушки.

Пас, девочки, развел он руками, поступайте как знаете. Только чтоб потом не кусать локти...

Думая о том времени, переживаниях, страхах за жену, за здоровье будущего ребенка, вспомнил с улыбкой: сам в какой-то момент почувствовал себя роженицей. «Зашевелилось что-то внутри, — рассказывал Боре. — Подташнивать стало по утрам. Клянусь!»

Был период возврата прежних чувств к жене. Бегал на базар, покупал домашнее сливочное масло, яйца, кислое молоко, рыбу, свежие овощи с грядки.

— Сиди, я сам, — говорил, когда Юлия делала попытку протереть пыль, вымыть полы.

— Лешенька, мне надо двигаться! — возражала она, смеясь. — Вспомни, что пишут в твоих брошюрах. Гимнастика, плавание, гулять каждый день. А то я жиром заплыву.

Приближалось время родов, что-то в ней неожиданно сломалось. Ушла в себя. Забьется в угол, молчит часами. Спросил о чем-то, замахала руками:

— Уйди, уйди, пожалуйста! Не мучь меня!

Вскочила среди ночи (он лежал рядом, нащупывал лихорадочно кнопку выключателя).

— Я боюсь! — закричала. — Позови маму!

— Хорошо, Юленька, — гладил он ей волосы, — утром я дам телеграмму.

— Какую телеграмму! — рвалась она из рук. — Мою маму! Мою!

Днем кормил ее с ложечки овощным супом, она сидела в рубашке на постели — осунувшаяся, с потрескавшимися губами. Протянул, предварительно подув, очередную порцию, она внезапно его оттолкнула.

«Ждите, сейчас приедем, — ответили, когда он позвонил в „Скорую“. — Приготовьте все для госпитализации. Паспорт, минеральную воду, домашние тапочки».

Обшарпанное строение за забором на улице Льва Толстого: роддом номер три. Регистратура, оформление.

— Оставьте сумку, гражданин! — подошедшая к окошечку старшая медсестра с побитым оспой лицом пробежала глазами содержимое папки-скоросшивателя, взяла под руку Юлию. — Идемте, больная...

Смотрел, как они идут по полутемному коридору, заворачивают за угол. Едва вернулся домой, сел за машинку с начатой рукописью, телефонный звонок.

— Квартира Цветковых? — возмущенный голос в трубке. — Говорят из роддома. Приезжайте немедленно!

Он похолодел:

— Что случилось? Что-то с женой?

— Сбежала ваша жена.

— То есть как сбежала?

— Так и сбежала. Ногами. Как люди бегают. Приезжайте, выясните все на месте. Мы уже милицию вызвали.

Ее нашли недалеко от дома, на автобусной остановке. Корчилась в схватках, кричала, валяясь на тротуаре. Случайные прохожие пробовали вызвать «скорую», бро-

сали в телефон-автомат «двушки», автомат заглатывал монеты, давал отбой. Привез ее в роддом спешивший куда-то по вызову, остановленный посреди дороги людьми водитель автомастерской. Несколько прохожих забрались в крытый кузов, уложили обезумевшую от болей женщину в замызганном халате на какую-то ветошь, держали за руки.

Он встретил ее у ворот, бежал по ступенькам за санитарями, тащившими ее на носилках в приемный покой.

— В операционную! — приказала встретившая их на пороге старшая медсестра. Обернулась в его сторону: перекошенное лицо, вот-вот укусит.

— Почему вы здесь? — рявкнула. — Немедленно выйдите!.. Привезли хулиганку! — кричала вслед. — Мы будем писать на вас жалобу!

Он просидел на скамейке всю ночь. Утром соседка по Юлиной палате замахала ему из окна, бросила в приотворенную форточку карандашную записульку: «У вас девочка, все в порядке».

Стоя в замусоренном палисаднике с пожухлой травой, он облегченно, счастливо заплакал.

«Образцово-показательный отец», — шутил над ним Боря. Ездит двумя троллейбусами в пункт детского питания райздравицы, сдает на кухне мытые бутылочки, стоит в очереди, везет домой авоську ацидофилина и детской смеси. Катает по утрам за домом, куда еще не добралось солнышко, коляску с младенцем, заглядывает озабоченно под козырек, шупает: не мокро ли внутри, покачивает плачущую малышку на коленях. Тот самый Алексей Цветков. Невозмутимый, лишенный сентиментальности, с внимательным, цепким взглядом. Купает с женой дорогое чадо в ванночке, измерив предварительно градусником температуру воды, делает клизмочки, когда ребенок мается животиком, лечит потничку на попке настоем марганцовки и ромашки. Изменился до неузнаваемости. И все благодаря равнодушно глядящей куда-то мимо него, державшего ее на руках, спеленатой в кружевной подарочный «пакет» лысенкой трехкилограммовой марсианке с головкой-тыквочкой и разноцветными глазками, пускающей периодически в пространство живописные пузыри.

Историю с бегством Юлии предали забвению — в роддоме и не такое случалось. Выдали больничную выписку, принимавший роды врач-акушер со старшей медсестрой и обитателями палаты съели по куску киевского торта, купленного им из-под полы в центральном гастрономе, пожелали здоровья и счастья новорожденной. Боря домчал их за рулем «Волги» домой, где марсианку ждала в спальне персональная выгородка за ширмочкой с застеленной кроваткой, над которой висел намалеванный им плакатик: «Здравствуй, моя девочка!»

Потекли будни не очень молодых родителей. Освоение процедуры отрыгивания. По-о-гла-аживаем после кормления круговыми движениями спинку — хлоп между лопаточек. Ура, наша радость! Черета прививок. Против гепатита В, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, спустя какое-то время — от кори, краснухи, свинки.

Переживания: не растут зубки. Пяточки вроде бы без выемки, не плоскостопие ли? Простудилась, кашляет, как быть? Тонзиллит. Плачет без видимой причины, отчаянно, на крик. Колика? Недоедание?

В годовалом возрасте эпопея с поиском няни. Рекомендации знакомых, чтение невразумительных рукописных наклеек на стенах домов. Выход на представительниц маргинальной секты бытовых мучительниц, остроумно высмеянных Аркадием Райкиным в известной телевизионной миниатюре. Изматывающие переговоры, увещевания,

согласное кивание головой в ответ на чудовищные условия. Как ушат воды в конце встречи: «Нет, не подойдет».

Выручил, как бывало не раз, Арнольд. Ушла на пенсию давняя его знакомая, библиотечкараша Института истории и археологии, нянчит детей. Удобно: живет в их микрорайоне, однокомнатная квартира, пять минут ходьбы.

Библиотечкараша Клавдия Тимофеевна произвела при встрече хорошее впечатление. Интеллигентная, в доме книги. Провела в столовую: на ковре среди разбросанных игрушек лазят двое малышей в ползунках. Заулыбались вошедшим. Кариночка и Валерик. Очаровашки.

— Возьму, пожалуй, еще одного, площадь позволяет, — Клавдия Тимофеевна достала из пачки папиросу «Беломора», закурила, пошла на кухню. — Курю, как видите, в форточку. — встала у окна. — Завтра можете привезти ребенка.

Выйдя на лестничную площадку, они обнялись: ура, живем! Не готовит еду? Ерунда, будем приносить свою. Даже лучше: знаешь наверняка, чем питается ребенок. Варили, вернувшись после работы, бульончики, каши, мясные фарши, натирали теркой фруктовые смеси. Все стерильное, баночки и бутылочки мытые-перемытые, трижды ошпаренные кипятком. Лилечку забирали по очереди в семь вечера, гуляли час-полтора в соседнем сквере. Как-то в один из дней он рано освободился, зашел в знакомый подъезд, поднялся по лестнице, собрался позвонить: что за фокусы — дверь не заперта! Шагнул за порог в прихожую, уставленную колясками.

— Клавдия Тимофеевна! — позвал.

Тишина.

Заглянул на кухню: библиотечкараша спала, сидя на табуретке. На застланном клеенкой столе бутылка портвейна, стакан, переполненная окурками пепельница.

Взволнованный, он рванул в гостиную: никого. Похолодел от мысли: «Уползли на улицу! Украли цыгане!» Побежал было к выходу, остановился от приглушенного детского лепета за приотворенной дверцей чуланчика в конце коридора.

Увиденное в полутемном, заваленном хламом закутке не поддавалось описанию. На цементном полу, среди насыпанной в углу картошки и репчатого лука лазали с вымазанными физиономиями, грызли хищно редкими зубенками заготовленные на зиму овощи Кариночка, Валерик и радостно улыбнувшееся в его сторону ненаглядное чадо.

Парадокс: все обошлось как нельзя лучше, никаких последствий! Ни ожидаемой дизентерии, ни сальмонеллеза, ни других страшных вещей. Простого поноса не было. Весела и здорова малышка.

Всякий раз потом, готовя загодя еду ребенку, они выразительно переглядывались.

— Сырая картошка, Леша! — не выдерживала первой Юлия.

Валилась на стул, махала в приступе смеха руками.

— А мы кипяточком! В салфеточки заворачиваем! Ой, не могу!

Позвонил Боря: срочно надо собраться — неладно с Гошей. Запер на замок квартиру, передал какому-то мазиле мастерскую на Большой Красной, уехал в деревню.

Сидели за столом, курили, думали, как быть.

— Деревня? Что-то новое.

— Кризис. У художников бывает.

— Как бы не горячка.

— Чего попусту гадать? — подал он голос. — Поедем, разберемся на месте... Что за деревня?

— Вроде бы Пестрецы. Этот мазила к нему уже ездил. Везил масло и кисти.

— На горячку не похоже, — пошел одеваться Боря. — Едем, ребята. Это недалеко, час езды. В сторону водохранилища.

День был ни к черту. Моросил дождь, дорога — сплошное месиво. «Волга» буксовала, норовила съехать в кювет, Боря за рулем тихо матерился. К крайним избушкам деревни на берегу извилистой речки подъезжали в ливень и туман. Поплутали по безлюдным улочкам, увидели вывеску «Сельмаг». Закусывавшая за прилавком молоденькая продавщица-татарка, услышав про художника из города, вышла с ними на крыльцо, показала в сторону церквушки у подножия холма:

— За ограду Святой Троицы заедете и направо. Там всего один дом. У гончара Василия живет.

Засмеялась:

— Непьющий художник. Чудеса!

К дому гончара подъезжали в молчании. Одинокое строение с сараем возле оврага, калитка, двор, хлещет из водостока в металлическое корытце у крыльца вода.

Постучали.

— Вам кого? — появился на пороге мужичок в галифе и майке. — А, Георгия Николаевича? Работает, — сообщил уважительно, — просил не тревожить. Проходите в дом. Обувку только помойте, — показал на корытце. — Тряпочка вот... — снял с оградки и протянул кусок мокрой мешковины.

Прошли гуськом через темную прихожую, вошли в горницу. Чисто, уютно. Беленая печь до потолка с лежанкой, стол под цветастой клеенкой, на стенах фотографии в рамках, на подоконнике герань в горшках.

— Василий, будем знакомы, — по очереди жал руки хозяин. — Почетный мастер-гончар. — Пошел за занавеску, вынес глиняный жбанчик. — Вот, кваску медового отведайте, — разлил по стаканам. — Свежий, только забродил.

Отхлебывали сладковатый квасок, переглядывались:

«Работает, не беспокоить». Черт-те что.

Хозяин делился мнением о постояльце. Святой человек: не пьет, не курит. На храм пожертвовал, службу выстаивает по утрам. Батюшка, отец Паисий, так и сказал прихожанам: святой человек, берите пример, погрязшие во грехах!

— Дела, — озабоченно заходил по горнице Арнольд.

— Может, ошиблись, не тот художник? — предположил Боря.

— Тот, кто же еще. Что-то мне, ребята, не по себе... — Арнольд озирался по сторонам. — А вы сами, Василий, — обратился к хозяину, — того, водочку приемлете?

— Да приемлю, граждане! — с чувством отозвался почетный гончар. — Как в нашем деле без водочки? В мастерской холод лютый, глина, вода. А нельзя, святой человек рядом. Смотрит жалеючи: грех, брат Василий, воздержись. Вторую неделю квас проклятый пью. В животе урчит, каждый час до ветра бегаю...

В прихожей в эту минуту раздались шаги — Арнольд уверял впоследствии, что видел в дверном проеме сияние. Через порог шагнул в холщовых штанах и заляпанном краской переднике бледный отрок с кроткой улыбкой, отдаленно напоминавший Гошу, следом юркнул у него между ног взволнованный красавец петух в ярком оперении.

— Милые вы мои! — протягивал руки гостям художник. — Арнольд Моисеевич, дорогой! Боренька! Лешенька славный! Бог мне вас послал...

Дело оказалось сложнее, чем они думали. За полдником с макаронами и квашеной капустой Гоша изложил новое свое понимание живописи и путь, которым отныне намерен следовать.

— Кто я есть, ребята? — говорил печально. — Без балды? Копиист. Лезу из кожи вон, чтобы у меня на холсте дерево было похоже на дерево, голая баба на голую бабу. Для чего, скажите? Пойди лучше в лес, смотри на живое дерево, в постели на голую бабу.

Погладил по спинке нервно перебиравшего шпорами петуха, бросил макаронину. Петух торопливо застучал клювом, разбросал вокруг ошметки, заглотал, устался, скосив башку, на благодетеля.

— Ненавижу себя, Арнольд Моисеевич. Сжег бы все, что написал. И по ветру развеял

— Слушай, друг, — не выдержал Боря, — ты тут в деревне, случайно, Кьеркегора не штудировал?

— Кого? — не понял тот.

— Какая муха тебя укусила! — прорвало Арнольда. — Живописец от Бога! Фигурист, каких поискать! С кустодиевским взглядом на мир. Мямлит не пойми что! У тебя же краски на холстах поют. Четыре работы в Республиканском музее искусств, одна в Третьяковке. А ты нам тут экзистенциалистскую балду разводишь. Маразм какой-то! Давай показывай, чем ты тут занимаешься. Отшельник хренов!

— Идемте, ребята.

Перекрестившись в сторону иконки-поставца на тумбочке, Гоша пошел к двери, следом, тряся малиновыми сережками, озабоченный петух, за ними остальные.

Миновали сени, вошли, озираясь, в пахнущий овечьим пометом прируб с мутным окном, по которому стекали дождевые змейки. Ящик с красками на лавке, кисти в ведерочке, мольберт на треноге. Прямоугольная, в рост человека доска. С чем-то полыхающим, пляшущим, хохочущим, рыдающим, ерничающим, молящимся. Скопище масок, полуобнаженные мужские и женские фигуры, одна с лицом продавщицы-татарки из сельпо. Ослиная морда с ощеренными зубами, опрокинутые фонарные столбы вдоль тротуара, магазинная вывеска над аспидно-зеленой будкой: «Жди отстоя», петух в тесной очереди с трехлитровой банкой под мышкой. И все это лишь отражение в мастерски написанном трюмо с ажурным орнаментом и вдребезги разбитым зеркалом с расходящимися в стороны лучиками треснувшей амальгамы. Ощущение непередаваемое: с одной стороны, картина-«обманка», боязно дотронуться (порежешь руки!), с другой — абстракция, хаос: распад вселенной, шабаш похотливых чудовищ в экзотических джунглях, глумление над жертвами, крики о помощи, потеря ориентиров, неверие в возможность спасения, скорый конец — но нет! — витает над вселенским безумием лучик надежды: ангел-спаситель с просветленным чудным лицом, простерший руки к тонущей родной Атлантиде человечества...

Шуршали в углу мыши, стучал по крыше дождь, расхаживал по-хозяйски из конца в конец мастерской сошедший ненадолго с доски подкормиться экзистенциальный петух.

— Название придумал? — нарушил молчание Арнольд.

— «Театр», Арнольд Моисеевич.

Гоша подошел к картине, мазнул пальцем в одном месте, в другом.

— Помните, вы рассказывали про эту самую... как ее?

— Элеонору Дузе.

— Ага, про нее. Про людское поголовное притворство. На сцене, в жизни, где хочешь Люди вправду заигрались, не видят ни хрена вокруг, не думают. Веселятся, в грехах погрязли. А пропасть — вот она, в двух шагах.

— Этот, летящий. Удержит, по-твоему, нас на краю?

— Не знаю, Арнольд Моисеевич. Он хоть и ангел, но и сам вроде играет роль. Как все мы.

— Василий, — повернулся к высунувшемуся в дверь мастерской хозяину Арнольд. — Это самое. Небольшая просьба, если не трудно...

— Да готово все давно, мил человек! — возликовал почетный гончар. — Милости прошу к столу...

Проснулись на другой день близко к полудню. В окошках муть, стук дождя за стеной, в головах монотонное непереносимое перемальвание мозгов.

— С пробуждением, граждане! — бодрый оклик хозяина. — Подзаправиться не грех... Георгий Николаич в мастерской. Просили не беспокоить. Опохмелился спозаранку, и за работу. Святой человек.

12

Мололи жернова жизни, бежали дни. Росла дочь: умненькая, находчивая, за словом в карман не лезет, вся в папу. Училась с ленцой, пропадала вечерами у подруг, вела дневник, который запирала на ключ в прикроватной тумбочке: личная жизнь — мое достояние, посторонним вход воспрещен. Притащила с улицы слепого щенка: бездомная мать-дворняга умерла при родах, выжил только этот полудохляк. Поили попискивающего сироту с болтавшейся на розовом пузике пуповиной молоком из пипетки, укладывали на ночь на подстилочку в спальне. Подстилочка найденьша, названного Рикки, не устраивала, спавший у себя в кабинете Цветков просыпался среди ночи от жалобного завывания под диваном-кроватью: «А-а, а-а!» Брал теплый шерстяной комочек в постель, укладывал в ногах, песик успокаивался, затихал, но утром неизменно обнаруживался уткнувшимся мордочкой ему в щеку, сладко посапывающим во сне.

Жилось терпимо: оба неплохо зарабатывали, оставалось кое-что на сберкнижке. Каждое лето поездка на отдых в дома творчества ВТО: в Ялту, Мисхор, в Щелково под Москвой. Не отказывали себе в питании, домашняя техника новейших марок: зилковский холодильник, пылесос, полуавтоматическая «Аурика» вместо терзавшей в ключья белье «Вятки», в гостиной цветной «Рубин-401» с широким экраном, радио-ола «Ригонда». Прилично одевались: у него два чешских костюма, один повседневный, другой на выход, Юлия покупала дорогие отрезы в комиссионке, шила платья на дому, у театральной портнихи, дочь-семиклассница щеголяла в школе в джинсовой паре: не какое-нибудь самострочное фуфло — «Ливайс» с фирменным лейблом на юбочке.

Тринадцатилетняя Лялька, как звали они ее между собой, играла в доме главную роль. Отлично эту роль усвоила и мастерски пользовалась. Вовлеченная волей обстоятельств в родительские склоки, принимала сторону то одной, то другой стороны, извлекая всякий раз при этом пользу для себя.

Юлия посвящала ее в отцовские измены, истинные и мнимые. Готовясь выяснить с ним в очередной раз отношения, ждала всякий раз возвращения дочери. Хватала нервно за руки, кричала в его сторону:

— Полюбуйся на любимого отца! Спит с массажисткой из спортивной поликлиники! Ни стыда, ни совести!

Лялька вела себя по-разному. Выразительно морщилась, говорила:

— Мальчики-девочки, вам не надоело? Смените пластинку!

Шла на кухню, кричала оттуда:

— Пожрать в доме бедному ребенку что-нибудь найдется?

Была родной, близкой, смешной. Забиралась в домашнем халатике к нему на диван, клала голову на колени:

— Расскажи что-нибудь. Про дядю Борю. Правда, что он лупит свою Изольду?

Приступы дочерней любви совпадали часто с желанием что-либо заполучить. Ручные часики («Полкласса носит, одна я как сирота»), приемник «Спидолу», итальянский купальник, как у Каринки («В комиссионке на Ленина еще висят. Папк, ты же премию за книжку отхватил. Не жмись!»), согласие отпустить в субботу в однодневный поход на байдарках по Каме, против которого возражает мать. Что-то еще требующее его вмешательства.

И — крутой поворот. Пролетает мимо, вернувшись из школы: шмыг к матери. Сидят в креслах, листают увлеченно свежий номер «Журнала мод» с Мариной Влади на обложке в коротком платье выше колен.

— Мам, давай отхохмим, — слышится из спальни. — Оденемся в мини-юбки. Во всем мире давно ходят.

— С ума сошла!

Вчера была папина дочь, сегодня мамина.

Он возвращался поздно вечером после прогона «Губернатора провинции» братьев Тур в Русском драмтеатре, заглядывал в гостиную. Лялька за столом, делает уроки. Нагибался, собираясь поцеловать в макушку, — она отшатывалась, толкала руками:

— Отойди! От тебя пахнем свиномышью!

Расстроенный, шел к себе, слышал за спиной:

— Возвращайся к своей массажистке! Навсегда!

Черт его попутал с этой массажисткой. Растянул на теннисном корте голеностоп, Арнольд позвонил знакомому главврачу спортивной поликлиники в соцгороде, тот: «Пусть приезжает, поможем». Назначили курс массажа, все тип-топ. В последний день заболела занимавшаяся ногой Нина, он попал к другой массажистке, Вале. Веселая, крепенькая, капельки пота на лбу. Массировала голеностоп, втирала мазь, натянула эластичный чулочек. «Встаньте! Походите! Не болит? Чудненко!» Мыла руки над раковиной и как бы между прочим:

— Проводили бы даму. У нас на Сухой речке хулиганье — ужас просто!

— Чего там, провожу, конечно, — он в ответ.

— Спасибо за прекрасный вечер, — поцеловала на пороге, прощаясь.

Кому от этого жарко или холодно? Было, не было. Эпизод, миг. Так нет, какая-то сволочь позвонила Юлии на работу, сообщила в подробностях о связи Алексея Юрьевича с массажисткой спортполиклиники. Теперь бейся об стену, объясняй, клянись. Встретил бы гадину, убил, не задумываясь.

— Думаю о Гошином ангеле, — говорил Арнольд. — Обратили внимание? — глотнул из кружки. — Он его предельно очеловечил. Крылья едва обозначены, домотканый балахон до пят, славянские черты лица. Не низверженный Всевышним на землю за связь с сатаной сподвижник, как в Библии или у Мильтона, напротив, посланец неба, снаряженный с благой целью — помочь заблудшему человечеству, вывести его к свету. И все на уровне интуиции, подкорки. А? Гений, гений...

Пили в воскресный день пиво в «стекляшке» на территории Кремля, шутили, спорили.

В промерзшем насквозь помещении с опилками на полу было шумно, накурено. Распахивалась временами заледенелая дверь, через порог шагали, впуская снежную поземку, новые посетители.

— Анекдот о Василии Ивановиче хотите? — посмеивался Боря.

— Давай.

— Чапаев ездил поступать в военную академию. Петька ему: «Василий Иванович, ну как? Все сдал?» Чапаев: «Нет, не все, Петька. Кровь сдал, мочу сдал, а математику не сдал».

Посмеялись.

— Еще по кружечке?

— Естественно.

— Галимзян, три кружки!

— Подогреть?

— Не надо!

Текла беседа. Мотыль, «Звезда пленительного счастья». Киношедевр, с какой стороны ни посмотри. Актеры, музыка. Сцены наверняка строились и монтировались по партитуре Шварца... «Бульдозерная выставка». Олжас Сулейменов. Книжку о туркизмах в «Слове о полку Игореве» вроде бы запретили, академик Рыбаков выступил против.

— Как вам наш дорогой Леонид Ильич? — Боря с усмешкой. — Маршал Советского Союза!

— Маршал так маршал, — отзывался он, грызя соленый сухарик. — Ну нравится человеку. Вам жалко? Лишь бы не было войны, как любила повторять моя бабушка. <...>

— Галимзян, еще три кружки!

— Вот ты, Леша, у нас спец, — как всегда, с подначкой Боря. — Объясни темным людям, что творится в театре? Что ни пьеса, варят сталь, заседает партком, Ленин пишет завещание партии. Бытовщина, зубы ломит!

Он в ответ:

— Ну зачем, не все так мрачно. Арбузов жив, Вампилова ставят. У нас в Казани, кстати, идет его отличная вещь «Прошлым летом в Чулимске», советую посмотреть. Живые люди, страсти кипят. Радунский новую вещь написал. О декабристах.

— А-а, твой кумир.

— Кто тут о театре? — голос за спиной.

Мать твою! Этот, как его, Васильщиков (Или Красильщиков?). Из Русского драмтеатра. Ампула положительного героя. Ходит по пятам, житья не дает: хоть парочку строк об его творчестве. Выпивоха, по роже видно.

— Не помешаю? — покачиваясь.

— Милости просим.

Все трое дружно закуривают.

— Место актера в кабаке, — с наигранной интонацией. — Выпить, закусить... — Красильщиков (или все же Васильщиков?) озирает замусоренную стойку со шкурками сухого леща. — Поговорить, душу излить...

— Галимзян, еще кружку!

— Готово, прошу!

— Вот вы, уважаемый Алексей Юрьевич, — положительный герой пьет из кружки, морщится, — видели меня в «Прошлым летом в Чулимске», так? В роли бухгалтера Мечеткина.

— Видел. Вас тоже.

— Вот! — Васильщиков (скорее всего, так) выразительно поднимает палец. — «Вас тоже». Слышали, уважаемые? Какой отсюда следует сделать вывод? А вывод следует сделать такой. Уважаемому критику Цветкову актер Гречишников («ну, слава богу!») несимпатичен.

Гречишников отпивает половину кружки, вытирает рукавом пальто губы.

— Убог, мерзок!

- Ну чего вы так? — он морщится. — Ничего похожего. Играете достаточно сносно.
- А в рецензии ни полсловечка, — взъерошил волосы Гречишников. — Не удостоили.
- Смотрите, удостою — не поздоровится.
- Скосил глаза на приятелей: отчаливаем...
- Галимзян, счет, пожалуйста!

Шли по набережной, подняв воротники. Над замерзшим затоном с впаянными в лед судами стоял туман, мутно проглядывал над дальним лесом солнечный белесый диск.

— Актер-актерычи! — с чувством говорил он. — Ни черта со времен Островского не изменились. На подмостках властители дум, а в жизни мелочны, завистливы, глупы как пробки.

- А я чего говорю, — соглашался Арнольд. — Куклами заменить.
- Опять ты со своими куклами.

Ехал в микрорайон троллейбусом. За окном сугробы снега, ледяные сосульки на карнизах домов. Шел от остановки.

- Папка! — услышал.

Навстречу катили на лыжах Юлия с дочкой: обе в спортивных костюмах, вязаных шапочках. Раскрасневшиеся, радостные.

— Папк, бери лыжи и к нам... — у Ляльки прерывистое дыхание, пар изо рта. — С горок катаемся!

- Хорошо, я сейчас.

— Кофе долей, — протянула ему Юлия миниатюрный китайский термос. — В кофейнике на плите. Сахару только добавь.

Он смотрел на нее: красивая до чего баба, не дашь пятьдесят три.

- Ты чего? — усмехнулась она.

— Влюбился! — кричала Лялька. — По глазам видно.

Он ехал в лифте на шестой этаж, улыбался. На душе было радостно, тепло.

13

В Коктебель с Лялькой его привела литфондовская путевка — подарок приятелей к сорокапятилетию. С женой к тому времени отношения окончательно испортились, и перетягиваемая непримиримыми сторонами, как в «Кавказском меловом круге» Брехта, дочь оставалась единственным связующим звеном развалившейся, по сути, семьи.

Исчезнуть на время из дома было благом. Начало июля, два безмятежных месяца у ласкового моря с любимым чадом, покой, вечерний теннис с победительницей Уимблдонского юношеского турнира, ходящий вокруг да около Радунский, ищущий пути для знакомства, интрижка с увлекающейся йогой экзотической поэтессой из Калмыкии Гиляной Дунгэ.

На узкоглазую поэтессу он обратил внимание не сразу. Мелькала в литфондовской толпе степнячка в цветастом платье до щиколоток, водила за руку диковатого мальчонку, следом тащились, переговариваясь по-своему, старомодно одетые старуха и старик с тростью. Появлялась степнячка с мальчишкой-волчонком на пляже в смелом купальнике — черноморский загар был бессилен против желтизны ее кожи. Тащила брыкавшегося бутуза по галечнику, окунала с головой в воду — мальчишка отплевывался, орал как резаный на весь пляж. Пришла как-то вечером на теннисный корт, публика ахнула: ярко-алый хитон, серебряное монисто на шее, босая!

В тот день он проиграл Дмитриевой с разгромным счетом. С трудом взял один гейм в трехсетной партии. Был раздражен, быстро собрал ракетки, махнул рукой болельщикам, ушел к себе.

— Папк, ну чего ты? — успокаивала Лялька. — Как маленький. Ну, проиграл. Выиграешь завтра.

Он выпил пива из холодильника: бутылку, другую. Жевал рассеянно в столовой за ужином, уловил внимательный взгляд степнячки. Та сидела за дальним столиком в нише с сыном и стариками, держала в руках раскрытую книгу.

— Ты иди, я погуляю немного, — сказал, выходя из столовой, дочери.

Шагал по скупому освещенной аллее, скорее почувствовал, чем увидел сидящую на скамье женщину. Это была она. Прощел бы, не остановившись, не дополни кокетельская ночь серебристо-розовой пастели на полускрытый в тени акации абрис восточного женского лица. Вспыли в памяти картины из любимых в юности романов Яна: огни степных становищ, дымки над юртами, посвист ветра в камышах. Ощеренные в беге низкорослые кони со стелющимися на ветру гривами, всадники в замасленных халатах с перекинутыми через седла невольницами из недружественных улусов...

— Вы поэт? Прозаик? — прозвучал со скамейки голос.

— Ни то, ни другое, — подошел к ней. — Добрый вечер. Театральный критик.

— Театральные критики курят? — она подвинулась. — Садитесь.

— И курят, и пьют, — он присел рядом. — Некоторые женщинами увлекаются.

«Будет продолжение», — мелькнуло в мыслях.

— Некоторые — это, конечно, не вы.

— Почему же. Бывает, что и я.

Она звонко рассмеялась.

— Какие у вас сигареты?

Он протянул ей пачку.

— А, «Плиска». Мои любимые.

Он чиркнул спичкой.

— Прячусь от свекра и свекрови, — она глубоко затаилась. — Не разрешают курить. И вообще. Следят.

Затоптала каблуком сигарету.

— Хотите послушать стихи?

— Да, конечно, — поторопился он с ответом («Терпение, Цветков»).

— Короткое, два четверостишия. Только без комментариев, хорошо? Послушайте, и все.

— Слушаю и повинуюсь.

— На склоне лет, в закатный час, — начала она, — спадут внезапно шоры с глаз, и встанешь ты в смятенье. Где ж чудо, что дарило свет? Его иль не было, иль нет? Лишь пустота и тени...

Голос был чистый, грудной, она тщательно округляла согласные...

— На склоне лет, в закатный час, спадут внезапно шоры с глаз, и брызнет свет горячий, — она смотрела куда-то мимо него в пространство. — Растают тучи, словно дым, и ты поймешь, что жил слепым, но что уходишь зрячим...

Глянула исподлобья.

— Вам ясно, что у нас будет роман?

Он обнял ее за плечи, они стали целоваться.

— Гиляна! — позвали из глубины аллеи. — Гиляна!

— Все, убегаю, — сжала она ему руку. — Увидимся...

Побыть наедине не удавалось. У него в комнате глазастый страж, получивший наверняка инструкцию от маменьки следить за беспутным отцом, у Гиляны охрана из свекра и свекрови, помнивших времена, когда заблудшую жену волокла по проселку на веревке несшаяся вскачь упряжка лошадей.

Ограничивались минутными встречами: в столовой, на пляже, на корте после игры. Перед тем как попрощаться, она совала ему записку. Писала, что хочет осознать истинную свою природу, добиться единения ума, тела и души. «Отец философии йоги Патанджали, — читал, — учит обуздывать волнения, присущие уму. Но как это сделать, дорогой, когда ты рядом, в моей ауре?»

Первой почувствовала неладное Лялька.

— У тебя странное лицо.

— Какое именно?

— Другое.

Не спускала глаз.

— Ты куда?

— Прогуляться.

— Я с тобой.

Лялька ладно, Радунский! Засуетился: минуточку, что это у нас такое творится? Провинциал, не пойми кто, уводит из-под носа желтолицую Чио-Чио-сан из восемнадцатой комнаты. Непорядок, девочки-мальчики, выходим на тропу войны. Он обольщает слабый пол посредством ракетки, мяча и икроножных мышц, а мы, мальчики и девочки, слушайте и не говорите, что не слышали, будем завоевывать свечением таланта, умом, обаянием. Голосом и взором, как писал поэт...

«Ревнуйте, Лешенька, — читал он в очередной записке. — Радунский подарил мне сборник своих пьес. Знаете, как надписал? „Вы загадка, очень хочется разгадать“».

Мужская половина дома творчества приподнялась с лежачков. Гляди, братва, баба-то, баба! Как это мы, олухи царя небесного, не разглядели? Одна, без мужа. Подъем, мужики, промедление смерти подобно...

На центральной аллее после ужина оживленная компания вокруг скамьи, на которой дымит сигаретой некстати свалившаяся в семейное по преимуществу коктейбельское тюленье стадо экзотичная Гиляна Дунгэ с кошачьей улыбкой на губах.

Женщины, проходя мимо:

— Видели?

— Ужас!

— Куриная слепота, у них это бывает...

— Опять? — возмущенно вопрошала Лялька. — Прогулочки, закоулочки?

— Ну чего ты, в самом деле, — обнимал он ее за плечи. — Дурашка. Это же дом творчества, люди общаются друг с другом. Ничего такого нет, уверяю тебя. Она поэтесса, читает мне стихи, просит оценить.

— Поэтесса? — изобразить подобным образом ужас от услышанного могло только любимое чадо.

— Представь себе. И очень неплохая.

— Все, мне нечем дышать, я иду на воздух!

Устроила на другой день скандал.

— Заврался! — кричала. — Ни слова правды! О вас все вокруг говорят!

— Не слушай глупцов.

— Она же желтая! Глаза уски, кусает лягуски!

— Замолчи! — топал он ногами.

— Сам замолчи! Изменщик!

Гиляна пошла ва-банк. Появилась утром на пляже с сынишкой, увидела его с Лялькой на привычном месте, замахала рукой. Подошла, бросила рядом махровый халат. Открытый купальник, крашенные ногти на ногах.

— Доброе утро! Как вода?.. Джангарчик, — поцеловала выглядывавшего из-за плеча голоштанного волчонка, — поищи маме камешки. С дырочками, как вчера...

Глянула на лежавшую на надувном матрасе Ляльку.

— Вы Лиля, так? Папа говорил...

Та смерила ее ледяным взглядом.

— Что вам еще говорили про меня?

Пошла, не оборачиваясь, к воде, нырнула, поплыла.

— Свекор со свекровью не дают житья, — говорила с тоской Гиляна. — Где была, почему задержалась? Грозят написать мужу... Я плохая дочь Патанджали, милый, у меня эгоистические желания, я не могу их смирить...

Шаставший по галечнику голозадый волчонок, за которым он следил, неожиданно споткнулся, упал, громко завыл. Добежав, он схватил его под мышки, тот, продолжая орать, больно цапнул его за палец.

— Я схожу с ума, Леша, — смотрела она на него с мольбой. — Придумай что-нибудь!

Голова шла кругом. Остановил в коридоре телевизионщика Валеру:

— Можно к вам на минуту?

— Милости прошу, всегда рад!

Не получалось сказать начистоту, ходил вокруг да около. Мужская планида, черт ее дерит. Есть женщина, нет хаты. Есть хата, нет женщины.

— Алексей Юрьич! — возопил Валера. — Ну, будет вам! Ну, понятное же дело! Кому-кому, а вам! Нет проблем. Погуляю, в Судак смотаюсь. Там у меня приятель в пансионате, давно зовет. Скажите только когда...

Лялька мыла в субботу голову в общей душевой. Он предупредил Валеру, чиркнул записку Гиляне: в субботу, после полдника. Седьмая комната главного корпуса, дверь будет не заперта.

— Ключ под половиком, — шепнул, дожидаясь его после утренней разминки на корте, по-дорожному одетый Валера с вещмешком на плече. — Будете уходить, откроете форточку. Все, отчаливаю, — пожал руку. — Удачи!

Он потом сравнивал: лучшей женщины у него до этого не было.

Через три дня она уехала. Он играл на корте с Дмитриевой, пришло много народу. Увидел краешком глаза, производя подачу: по аллее, к стоявшему у ворот такси, несет чемодан и сумку молодой азиат в чесучовом костюме и шляпе, следом Гиляна за руку с сынишкой и плетущиеся старики. Взвыл мотор, Аня мягко отбила укороченным ударом мяч, он побежал к сетке, понял, что не успевает, остановился, со скамеек аплодировали. Гул взбиравшейся к верхнему поселку машины затихал, на главной аллее затеплились фонари, царапнуло отчетливо раз и другой в мембране репродуктора на столбе, грянул, понесся в тысячу первый раз над вечеряющим побережьем — таата-та-та-та-та-таа — «Полонез» Огиньского.

— Мирись, мирись, мирись и больше не дерись, — дергала за мизинец Лялька. — А если будешь драться, я буду кусаться!

— Я тебя сейчас так кусну, поросенок, — делал он зверское лицо, — своих не узнаешь!

— Ой, испугалась!

Он приходил в себя: мир с дочерью, кончились косые взгляды и ухмылки на пляже и в столовой. Встревожившаяся было, обязанная следить за поведением отдыхающих администрация, по-видимому, успокоилась: случай среди творческих людей не столь уж редкий и в принципе не вопиющий, сигнализировать руководству необязательно. Все опять как прежде: перекачивает лениво по галечнику черноморская волна, на лежаках вдоль пляжа загорелые тела, шагают сверху прибывшие из Севасто-

поля туристы в войлочных и соломенных шляпах, совершающие пеший поход по карадагской экологической тропе. Теннис, разговоры с Валерой, вежливо прикладываемый к шляпе Радунский. И время от времени, без повода, мимолетной тенью, женщина с лицом из восточной гравюры, проскальзывающая змейкой в приотворенную дверь...

Культурный организатор Зоя объявила за завтраком: в среду поездка автобусом в Старый Крым, желающие могут записываться.

Лялька на весь зал:

— Едем, ура! Там Грин жил!

Выехали рано утром, по холодку, час с лишним тряслись по бездорожью в натужно реवेशем, плывавшемся из-под капота кипятком ЛИАЗе на сползавших из-под задниц сиденьях.

После пыльного Коктебеля зеленый городок в отрогах крымских гор показался уютным, милым. Вышли, разминая затекшие ноги, на центральной площади, пошли за Зоей между потемневших от времени одноэтажных домиков из известняка. Каменные чаши фонтанов по дороге, высохшие, по словам Зои, с началом разработок каменных карьеров на склонах горы Агармыш, уничтоживших питавшие город водные ключи. Музей этнографии с верстовым столбом екатерининских времен в прохладном дворике. Мечеть хана Узбека, караван-сарай, «Дорога Грина» в конце Партизанской улицы, гриновский музей.

Разочарованная Лялька бродила, зевая, по комнатам, разглядывала стол под льняной скатеркой, за которым работал автор «Алых парусов», фотографии на стенах. Ничего особенного: стол как стол, фотографии как фотографии.

— Гуляем по городу! — объявила Зоя. — Автобус на центральной площади, отъезд в четыре тридцать. Опоздавшие добираются самостоятельно.

Взявшись за руки, они зашагали по тенистой улочке. Тишина, ни души вокруг: сонное царство.

— Вылезет сейчас из-под земли хан Узбек, — пугала Лялька, — как закричит: «Айда, шалтай-балтай, в гости! Кушать, пить!»

— Пожевать бы, в принципе, не помешало, — заметил он. — Как ты?

— Всегда готова!

Спросили у прохожего с полной авоськой помидоров в руках насчет столовой.

— С этим у нас плохо, — отозвался тот. — На базарчик пойдите, вон туда, — показал. — Чебуреки купите с рук, мацони, брынзу.

Базарчик был под стать городку: три навеса, пять торговых за прилавком. Купили у тетки в цветастом платке по стакану мацони и теплые чебуреки, которые она завернула в промасленный пакет из листка школьной тетрадки, сели неподалеку на плоский валун.

— Приятного аппетита, — возник рядом экзотичный босьяк. Лет двадцати, худой, как глиста. Рваные джинсы, нечесанные волосы до плеч, ленточка на лбу, браслет из кожаных полосок на запястьях.

— О, что я говорила! — вскричала Лялька. — Хан Узбек! Сейчас в гости будет звать...

— Поделитесь, граждане, чем можете, — произнес тот.

— Чебуреки будете?

Он с интересом разглядывал живописного попрошайку.

— Лучше бабки.

— Ага, понятно, — полез он в бумажник. — Сколько вас устроит?

— Трешка будет нормально.

— Трешка? — возмутилась Лялька. — Умный какой нашелся! Папк, гони его подальше!

Парень дружелюбно улыбался:

— Клевая.

— Вали, вали! — шипела Лялька.

Нищий все больше его занимал. Весь точно на шарнирах, того гляди, свернется пополам.

— Вы садитесь, — протянул ему зелененькую. — Как вас по имени?

— Сэм. В ксиве записан Семеном.

Покосился на оставшиеся чебуреки.

— Не остыли?

Выбрал один, жадно куснул:

— Круто.

За куревом поведал о себе. Москвич. Предки гуманитарии, мать кандидат наук. Учился на историка.

— Битва на Куликовом поле, выстрел «Авроры», апрельские тезисы Ленина. Во-о! — провел ладонью по горлу. — Облом конкретно. Свалил в Сибирь, на БАМ. Едем мы, друзья, в дальние края. Подъем, отбой. Надоело. С геологами полгода походил, теодолит таскал. Вернулся домой. Предки достают: диплом не за горами, берись за ум. Мы тогда с хиппарями на «Пушке» тусовались. Френд один, Мэтью: «Едем, говорит, в Старый Крым, там крымские хиппари коммуну замесили на лето». Подтянулись конкретно: кайф! Зависаем по полной...

Поднялся, обер об штаны замасленную ладонь.

— Хотите, покажу наш привал? Тут недалеко, на раскопках. Туристов водим, которым интересно. За мани. По три шестьдесят семь с рыла...

— Ляка, сходим? — повернулся он к дочери.

— Забыл? — глянула она на часики. — На автобус опоздаем!

— Да ладно, на попутке доберемся. Интересно же!

Становище хиппи среди археологических раскопок, куда привел их Сэм, напоминало лагерь потерпевших кораблекрушение: укрытые ветками акации лачуги из металлического хлама, остатки мебели, тряпичный хлам, на протянутой между остатками дорических колонн веревке сушится белье.

— Ну и запашок у вас, — сморщила нос Лялька.

— Тут же хезак туристский, — пояснил Сэм. — Сортир построить не дотумкали. Ну, народ кладет, естественно, где придется, на остатки цивилизации... Эй, — закричал, — есть кто живой, выходи! Гости прибыли.

Из ближайшей хижины выползли друг за дружкой кое-как прикрытые цветным тряпьем наголо стриженный парень и цыганистая девица. Заулыбались. Девица, протягивая руку:

— Кэтрин.

Парень:

— Мэтью. Рок-гитара.

— Давай что-нибудь для раскрутки, Мэтью, — обронил Сэм.

— Момент!

Парень вернулся к хижине, извлек выдавшую виды гитару на ремне, нацепил, ударил по струнам, заголосил самозабвенно:

Нет у меня врагов,
Нет у меня долгов,
Я ничего не хочу
И ни за что не плачу!

Девушка трясла бедрами и подтанцовывала в такт.

— Семь тридцать четыре за экскурсию, дамы и господа!

Дома, над рабочим столом, у него висела фотография: он с Лялькой в обнимку с Сэмом, Мэтью и общей их герлой Кэтрин на фоне античных развалин. На заднем плане закатное небо, подобие палатки. Фотовспышки в его «Зените-С» не было, явившийся после побирушек на складе горпотребкооперации с грудой просроченных консервов томный женственный Грэг, которому он сунул в руки взведенный фотоаппарат, перед тем как отбежать к группе, сплоховал, по всей видимости, — кадр вышел темноватым и слегка опрокинутым. И Боря, возившийся с привозимыми им из поездов негативами в подвальчике лаборатории, чтобы довести их до кондиции, возмущавшийся редкой неспособностью взрослого мужика, доктора искусствоведения, поставить нужную экспозицию и выдержку, вытянул все же, употребив при проявке и печатании все свое мастерство, провальный снимок до нормального вида.

Он улыбался, глядя на фотографию: одно из ярких крымских впечатлений!

О неопрятных молодых людях с длинными волосами, бездельниках и выпивохах, знал до этого немного. В газетах, по радио и телевидению сообщали время от времени о случаях с отщепенцами, взявшими у западной молодежи, протестовавшей против вьетнамской войны и придумавшей лозунг: «Занимайтесь любовью, а не войной», самое худшее. Кичатся своей аполитичностью, презирают созидательный труд, нечистоплотны в быту.

В коммуне из семи хиппарей, прикочевавших на лето в Старый Крым, всего этого было в избытке. Образ их жизни, изнеженность, пристрастие к чужим идеалам: песням, языку — вызывали у него отторжение.

— Скажи, Сэм, — требовал ответа за ужином у костра у недоучившегося историка. — Ты, конечно, что-то читал по русской истории.

— Карамзина читал.

— И что?

— Клево.

— Да брось ты, черт возьми, свое клево! — негодовал он. — Судьба твоего народа для тебя что-нибудь значит? Жертвы, пролитая кровь? Предки, как вы выражаетесь? В последней войне? Чем, по-твоему, Есенин хуже Джона Леннона?

— Леша, друг, давай о чем-нибудь другом, а! — наливал ему в стакан Сэм. — Ну, не догоняю я! Не канают мозги твою колбасню! Обвал!

Слушавший внимательно их полемику Мэтью вскакивал на ноги.

— Минуту! — кричал. — За неимением ансамбля исполнять я буду сам!

Хватал с пола гитару:

— Мы и по частушкам месим.

Бил зверски по струнам, запевал:

Уезжали мы на БАМ
С чемоданом кожаным,
А вернулись домой
С х.. отмороженным!

Хохот, бульканье в стаканы, Лялькин возмущенный голос:

— Эй, поосторожней с руками, по зубам схлопочешь!

Черт их знает: инфантильные, поверхностные, распутные. А милые.

Уехали из лагеря только на другое утро.

— Давай, сестра, — подсаживал Ляльку на перекрестке в едуший в Коктебель молоковоз Сэм. — Будет в лом, приезжай. Без балды. Вот адресок, — совал в руку бумажку. — Примем. Ол ю нид из лав!

— Поняла, что он сказал? — спрашивал он дочь, трясаясь в кабинке.

— Поняла, — в голосе Ляльки звучала грусть. — Все, что тебе нужно, это любовь...

14

Дмитриева уехала на Уимблдонский теннисный турнир вести радиорепортажи, Лялька замкнулась («Скучаю по маме»). Бродила по пляжу, собирала цветные камешки, вечерами долго писала в дневнике. Валера сообщил, что закончил повесть, просил посмотреть, оценить. Сочинение было ученическим, подражало городской прозе Юрия Трифонова, он искал обтекаемые формулировки, чтобы не обидеть.

— В целом интересно, есть сильные места, следует, однако, более четко обозначить характеры, в частности молодого архитектора... как его?

— Соломончук, — подсказывал Валера.

— Да, Соломончук. Нужны характерные черты, запоминающиеся поступки. Чего в нем больше: любви к профессии, желания видеть свой город более современным или стремления продвинуться по службе, сделать карьеру, понравиться этой самой...

— Любаше, — напоминал Валера.

— Да, этой эгоистичной молодой особе, соблазняющей одновременно его и заведующего отделом.

— Я списал ее с одной знакомой, — признался Валера.

— Заметно. Характер в целом живой...

С отъездом Дмитриевой публики на корте поубавилось, играл он теперь с лаборантом соседнего дельфинария Никитой, носившим значок перворазрядника на тенниске. Партнером Никита был неплохим, выиграл у него пару раз по буллитам, был страшно доволен, жал горячо руку. В один из вечеров, когда он поджидал запаздывавшего партнера, на соседней запущенной площадке — поднимите мне веки! — появился во всеоружии Радунский. Форма, кеды, кепочка, все адидасовское, импортная сумка (не динамовская) с торчащими ручками ракеток.

Он потирал руки: пробил час икс, маэстро дал слабину.

— Зачем ему это? — перебрасывался с ним у сетки перед началом встречи Никита. — Играл бы в преферанс, что ли...

Он не отвечал. Никита был турист, альпинист, самодеятельный бард, имел какой-то цветной пояс по тхеквондо и никогда, судя по всему, не читал Радунского, не видел его пьес.

А тот, что называется, осатанел. Они уже закончили партию, стояли у выхода, разговаривая со знакомыми, — на соседней площадке рыжеволосый коротышка в сбитой набок кепке отчаянно, как Дон Кихот с мельницами, сражался с бетонной стенкой, отбрасывавшей в его сторону данлоповские мячи.

Радунский стал приходить на площадку ежедневно. Утром и вечером. Обгоревший, с облупленным носом. Фланирование по набережной, морские прогулки с кобылками из шахтерского пансионата — все безжалостно было отринуто во имя неодолимой страсти к спортивной игре избранных, о которой упоминал еще Шекспир в исторической хронике «Генрих V», которой увлекались императоры, короли, фаворитки, за которую болела избранная публика.

Наблюдать за танталовыми муками кумира было тяжело, он в конце концов не выдержал. «С меня не убудет, — сказал себе, — если я сделаю пару шагов ему навстречу. Ведь

надо и его понять. В сущности, кто я для него? Лох, безвестный провинциальный гражданин Башмачкин. Что ж ему теперь, Юрию Радунскому, из-за того только, что не научился в свое время играть в теннис, шапку передо мной ломать? Поклоны бить? Скакать расстилаться? Во имя чего, помилуйте? Тенниса, господи! Который и олимпийским видом спорта стал гораздо позже хоккея на траве, о чем разговор? Его по телевизору невозможно смотреть! Не смотрится, хоть убей!»

Так примерно рассуждал он в минуту посетившей его минутной слабости. Слабость, однако, прошла, а бес лукавый, который до поры до времени помалкивал, хотя, разумеется, не дремал, направил неожиданно мысли в противоположную сторону. «Позвольте, позвольте, — развел он мысленно руками. — Это почему, собственно, я должен потакать ценой унижения чьей бы то ни было мании величия? Да хоть самого Радунского! Нет, брат, уволь. Если уж в самом деле что-то под кадык приперло, жизнь не мила и водка что вода, не мелочись. Выкручивайся, не коси глаза на суфлера. Спарринг-партнеры, как Алексей Цветков, на улице не валяются».

Дорефлексируясь в конце концов.

— Вы знаете, — с обворожительной улыбкой обратился к нему Радунский на другое утро в столовой. — Вчера разговаривал по телефону с женой («Воронина!» — прошелестело в мозгах у переставших жевать соседей). Она спросила: нашел ли я себе спарринг-партнера по теннису? Я сказал: увы, хорошие партнеры на улице не валяются (тут в мозгах зашелестело у него). Даже в Коктебеле. Вы замечательно играете, мне до вас как до луны...

Радунский! Ему! Вставшему в позу! О горе мне!

Ответил без промедления: готов тренировать, если тот пожелает, в любое время суток. Что и выполнял неукоснительно до самого отъезда из Коктебеля.

Увидел его опять через полгода, в Москве. Закончилась томительная конференция деятелей театра, кино, музыки и изобразительного искусства, на которой, слава богу, ему не надо было выступать, отшумела прощальная дружеская попойка с коллегами в «Арагви», в кармане лежал на завтрашний вечер обратный билет на самолет. В четвертом часу, пообедав в ресторане, он выбрался из гостиницы, чтобы побродить в одиночестве после вчерашней метели по заваленному сугробами, чудно преображенному, присмирившему городу. Шел, подняв воротник дубленки, вниз от Пушкинской площади в сторону Манежа, обходил скребущих тротуар дворников, смотрел на светившиеся сквозь корку наледи магазинные витрины. Зашел на углу Охотного Ряда в знакомый магазинчик «Сыры», купил полголовки любимого домашними (включая Рикки) сыра «Рокфор». Вышел с упакованной покупкой за порог — взгляд задержался на растянутом поперек фронтона Театра имени Ермоловой на той стороне улицы транспаранте: «Премьера!!!! Юрий Радунский. БЕГ ТРУСЦОЙ, ИЛИ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 1982 года».

Это был сюрприз: новая пьеса Радунского! В бесцветном, малопосещаемом столичном театре. Он почувствовал привычное сердцебиение.

«Пойти посмотреть что и как».

Странности того московского дня начались тотчас же, едва он проделал десяток шагов по направлению к переходу.

— Интересуетесь насчет свободного билетика? — преградила путь подмороженная личность в длинном пальто и с напоминавшей противогаз холщовой сумкой через плечо. — Есть партер и амфитеатр.

Он глянул на часы: половина шестого. Присутствие на дальних подступах к театру в столь ранний час спекулянтов говорило о многом.

Справился о цене: вчетверо выше номинала! Обстановка по всем признакам тянула на культурное событие, к которому он мог оказаться причастным.

«Познакомлюсь с театром, — подумал, — увижу новую работу Радунского, напишу рецензию».

Большинство безотказно работавших в подобных случаях отмычек на этот раз отсутствовало: театр на той стороне улицы был не его, писать о нем не приходилось, на дворе была суббота, нерабочий день, позвонить нужным людям, тому же Валере, ставшему зампредом председателя Госкомитета по телевидению, не было возможности.

Препятствия, как известно, обостряют искуc. Обойдя стороной скостившего цену барыгу, он пошел, наклонив голову, как в бой, сквозь крутившую снежные арабески поземку. Одолевая переход, обратил внимание: с заваленных снегом ступенек Центрального телеграфа на той стороне бросилась навстречу, картинно раскинув руки, девица в цветастой шали. Повисла на шее, радостно закричала, молотя новенькими бурками в галошах:

— Пашка, чума! Каким ветром? Где пропал? Дай закурить...

Пыхнула дымком.

— Слыхал про Маринку? Правда, жуть? — округлила глаза. — У тебя билет? Контрамарка? Мы с Галкой будем пробиваться через службу, она подойдет к семи. У нее новый хахаль, декоратор-оформитель. Грек или армянин, не поймешь, обещал провести. Дуб, Паша, не поверишь. О Цветаевой не слышал, ага. Феномен!

Шла рядом, аккуратно стряхивая варежкой снег с его дубленки, говорила без умолку: о тусовке в Сокольниках, об Эфросе, который, по сведениям Галки, вот-вот расстанется с Яковлевой, о Таганке, Любимове, Высоцком, о том, что этот дуб-декоратор подваливает и к ней и что в истории с Маринкой он сыграл не последнюю роль.

Цветков никогда в жизни ее не видел, не имел ни о ней, ни о Галке с Маринкой, ни о тусовке в Сокольниках ни малейшего представления и все же терпеливо слушал, не перебивал, не пробовал сказать, что она обозналась — было не до этого: Пашка так Пашка.

По дороге стали попадаться первые настырные ловцы билетного счастья. Срывались с места, неслись, опережая друг дружку, к проходящим. Сквозь надвинутую на уши меховую шапку застучало-забубнило-закудахтало в барабанные перепонки:

— ...лишнего билетика...

— ...лишнего...

— ...простите, лишнего...

— ...билетика...

Он чувствовал прилив знакомой энергии: был среди своих. Двигался в толпе к месту поклонения богу сцены Дионису, за порогом которого театралов ожидал добродушный на вид, а в душе злобный, ненавидевший пустоголовых фанатиков дракон — КАССА.

Что с драконом на этот раз будет не просто, Цветков понял сразу. Но лишь оказавшись в забитом до предела, гудевшем голосами кассовом вестибюле театра, осознал, какой высоты и прочности китайскую стену предстоит одолеть. Невероятно: тишайший еще вчера театрик, наполнявший третью часть зала путем индивидуального отстрела зрительских душ, успел обзавестись ампирного стиля медной дощечкой, прибитой над окошечком кассы с категоричной, как смертный приговор, надписью: «БИЛЕТЫ ПРОДАНЫ!» А! Как эти ермоловские ребята разом зачванились, встали в третью позицию, руками развести! «Гранд-опера!» «Ковент-Гарден!» «Ла Скала!»

Он прислонился к стене вестибюля, огляделся. Какой-то прыщавый тип с синей повязкой на рукаве, хамская молодая морда, ходил деловито-озабоченно в толпе, со-

бирал списки от организаций и социальных групп для вручения администратору. Наблюдая за ним, Цветков вздохнул: шаткость его положения усугублялась, кроме всего прочего, еще и тем, что он, в сущности, никого не представлял. Герой-одиночка. Полез в боковой карман дубленки, извлек членский билет ВТО. «А. Ю. Цветков, театральный критик». Звучало не очень...

Что-то в этот миг его подтолкнуло. Глянул в сторону распахнувшейся в который раз входной двери, впустившей на этот раз в заполненный людьми вестибюль (он обмер) ожившего Гошиного ангела в заснеженном рединготе, с пелериной, за которой тот прятал, должно быть, от любопытных глаз сложенные маленькие крылья. Ангел искал кого-то взглядом, он понял: его! Замахал рукой: «Я здесь!» Тот заулыбался, пошел-полетел навстречу, лавируя в толпе. Приблизился, встал рядом. Тот самый, с Гошиной темперы!

— Вы актер, я угадал? — спросил участливо. Убрал ладонью мокрую прядь волос с дивного лица северной, новгородской лепки. — Вас, наверное, тоже здесь никто не знает, как и меня? Будем держаться вместе, хорошо? — Сине-голубые глаза улыбались ободряюще и доверчиво. — Что-нибудь придумаем, не волнуйтесь, — звучал юношески-чистый, негромкий голос. — У вас ведь есть какой-то план, да? — Он перешел незаметно на знакомый монолог. — Действуйте, действуйте! До начала спектакля еще целый час. Я вас найду, не теряйте меня из виду...

Их оттирала друг от друга внезапно ожившая, загалдевшая с удвоенной силой толпа, уловившая шорохи и смутное движение за обоими окошками: билетным и администратора. Надвигалась главная потеха...

В отличие от большинства провинциалов, мечтавших побывать в столичных театрах, наивно полагававших, что театральные билеты приобретаются, как они считали, в театральных кассах, у билетеров, Цветков отлично знал, что приобретаются они понимающими людьми совсем в других местах. По так называемым («тсс!») СПИСКАМ. В отделе культуры ЦК КПСС, возглавляемом товарищем Шауро, в параллельном отделе Совмина, в профсоюзе работников культуры и госучреждений, отделах литературы и искусства центральных газет, в кабинетах Всесоюзного радио и Центрального телевидения, редакциях театральных журналов, в Мосгорисполкоме, Сандуновских банях. Все, что остается после распределений, раздач нужным людям, знакомым парикмахершам, продавцам ГУМа и Елисеевского гастронома, можно действительно купить в кассе. Поправка: не купить. Добыть, завоевать. Нечеловеческими усилиями, дьявольской хитростью, зубами и кулаками. Как в тот вечер битвы народов, участником которой он оказался в забитом людьми вестибюле Ермоловского театра, за два часа до премьерного спектакля по новой пьесе Юрия Радунского.

Когда бурлившая у глухо задраенных окошечек волна народного нетерпения достигла девятого вала, из приотворившейся наполовину дверцы служебного входа выпростался бочком давешний наглый самозванец с нарукавной повязкой, объявивший по поручению администрации, что в связи с аншлагом и отсутствием резервных мест будут рассмотрены просьбы только инвалидов войны по предъявлении соответствующего документа. Остальных граждан просят не создавать ненужной давки.

Самозванный жулик-координатор, у которого, судя по роже, с билетами было улажено, возвращал обескураженным гражданам рукописные списки. Народ глухо роптал, но не расходился. У окошечка администратора тем временем выстраивались, переругиваясь между собой, хорошо сохранившиеся деловитые инвалиды войны. Засветилось изнутри и через паузу отворилось посреди изразцовой, обклеенной афишами стенки круглое дупло билетной кассы с солидной, в тонких золотых очках билетершей-

белкой в глубине, озабоченно пересчитывавшей за столиком билетные блоки. Вежливо расталкивая толпу и разжигая в ней вековую ненависть к торгашам, устремились поодиночке к кассе вполголоса называвшие личные пароли белые люди, ОБЛАДАТЕЛИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКАЗА.

— От Василь Василича, — слышалось.

— Госхран...

— На имя Базавлук, четыре.

— Я от Веры... ой, от Веры Павловны, простите!

— Сулаквелидзе. Зураб и Вахтанг...

Отваливали, совершив челночный рейд «администратор — касса», инвалиды войны, зажав в руках трехрублевые билеты в последний ряд второго яруса. Крупный, с надменным лицом римского патриция, администратор работал в жесткой, предельно рациональной манере, просители отлетали от него как ошпаренные.

Улучив момент, Цветков просунул голову в окошко.

— Критик?

Администратор бегло пробежал взглядом по пришпиленной к стенке, испещренной значками и стрелками бумаге.

— В ВТО, — произнес, — мы направили тридцать два билета, обращайтесь туда. Следующий, пожалуйста!

Можно было перевести дух: премьера удалялась от него незнакомкой, не удостоившей взгляда в ответ на приподнятую шляпу. Стоя у колонны, он смотрел, как редееет смирившаяся с неизбежным толпа соискателей. Малая часть, на что-то еще надеясь, жалась по стенам, наблюдала за нарядно одетой публикой, весело валившей к дверям в гардероб.

Продефилировал, уже без нарукавной повязки, в обществе папы, мамы и интеллигентного вида бабушки наглый молодой координатор. Прошли осчастливленные героическими предками дети и внуки инвалидов войны. Промелькнуло несколько запомнившихся уличных ловцов билетного счастья. Прошел, кивнув головой, в обществе слегка увядшей дамы знакомый столичный критик, объяснявший, жестикулируя, спутнице просчеты и слабые места предстоящего спектакля. Среди двигавшихся мимо счастливых он узрел новую знакомую в цветастой шали, уже не в бурках с галошами, а в туфельках на каблучках, выразительно показывавшую на идущего рядом плохо выбритого кавказца, который держал манерно под руку телястую не по годам девицу с наивными васильковыми глазками и алым ротиком, по всей видимости, Галку.

— Паша, до встречи! — прокричала цыганистая знакомая. — Мы в третьей левой ложе!

В это мгновение он увидел Радунского. Держал все время в голове мысль, что коктебельский теннисный ученик явится в последнюю минуту, обрадуется, поведет в директорскую ложу, усадит на отличное место, скажет, убегая: «Увидимся на банкете. Я вас приглашаю!» Выглядело несколько театрально, но жизнь, в конце концов, театр, разве не так?

Оплошал в результате, чудовищно, постыдно! Засмотрелся на редкое по выразительности появление виновника торжества. Радунский возник на фоне прямоугольника распахнувшейся наружной двери, напоминавшего театральный задник, по темно-синему бархату которого сыпал не московский обыденный — вовсе нет! — густой и пушистый снег из пушкинской «Метели». И сам премьер, напудренный, взволнованный, порывистый, в элегантном темном пальто-реглан нараспашку и широкополой шляпе с низкой тульей и широкими полями, тоже был не из нашего, прозаичного и скуч-

ного, — из романтического девятнадцатого века. С колокольным звоном церквей, захмелевшими седоками в санях под меховыми полостями, мазуркой и котильоном в освещенных свечными люстрами гостиных, флиртами, тайными записками из рук в руки, карточным вистом, дуэлями. Из нашего скучного и прозаического века были, пожалуй, только две двухметровые жилистые манекенщицы с витринными неживыми улыбками, гигантши рядом с его фигуркой стареющего подростка, которых он стремительно тащил под несуществующие груди к служебному входу.

Они прошли в полутора метрах от него, он не мог вымолвить ни слова. Комичным, нелепым казалось произнести в подобной обстановке что-то вроде: «Юрий Олегович, привет! Как жизнь? А я, видите ли...» Фальшиво, жалко!

В обезлюдевшем вестибюле прозвучал первый звонок. Надо было идти в гостиницу, собираться в дорогу. Он не был подавлен, напротив: испытывал странное состояние наполненности пережитым, точно побывал на каком-то другом, не менее интересном спектакле. Перед глазами плыли мужские и женские лица, звучали обрывки фраз, веселый смех, слышалась музыка, кажется, из «Севильского цирюльника». Почти не удивился, когда скрипнула едва приметная дверца служебного входа и в проеме возник, без пальто и шляпы, снова Радунский. Судя по всему, ожидал кого-то. Сделал несколько быстрых шагов по направлению к парадной двери, повернул назад.

Они стояли лицом к лицу.

— Юрий, помните... — произнес он.

— А, это вы?

Радунский потянул носом в направлении целлофанового пакета с «Рокфором», который он держал под мышкой. Недовольное лицо, желание уйти.

— Извините, — озирался по сторонам. — Мне надо...

— Хотел побывать на вашей премьере, — вставил он.

— Нет, нет! — нервно взвизгнул тот. — Ни хрена не получится! Виноват!

Ринулся к служебному входу, обернулся напоследок в сторону парадной двери, прежде чем исчезнуть.

Ему стало невероятно весело. Как это он замечательно выразился, маг и кудесник русского литературного языка! «Ни хрена не получится». Браво, маэстро, брависсимо!

Двинулся к входным дверям, когда услышал за спиной:

— Погодите! Куда же вы?

Это был не Радунский. Так быстро заgrimироваться под Ангела с Гошиной температуры он бы не сумел. Сильные нежные руки тащили его мимо ничего не замечавших билетеров к гардеробным стойкам.

— Не сердитесь, у меня сегодня много дел, — виновато улынулся тот после того, как общими усилиями им удалось уговорить гардеробщицу принять разивший отхожим местом пакет с «Рокфором», который та задвинула, негодую, под обувную ячейку. — Я убегаю, хорошо? — сине-голубые глаза блестели искрой сумасшедшинки. — Поищите себе место где-нибудь в литерной ложе... Прощайте!

Обо всем позаботился. Как иначе можно было объяснить, что в набитом под потолок зрительном зале ни на что не надевшийся безбилетник, рыскавший взглядом по заполненным рядам, обнаружил, сел и не был изгнан перед последним звонком отсутствовавшим хозяином на единственное свободное кресло в первом ряду литерной ложи. Впритык к вытертому локтями бархатному барьерчику, на который удобно было облокотиться, когда уставала спина. Мелочь, разумеется, но буквально в двух шагах был театральный буфет. Когда в антракте он решил перекусить, то шагнул едва ли не сразу из ложи в буфетную в числе первых. Взял, не стоя ни минуты в очереди, бутыл-

лочку божественного «Двойного золотого» и четыре аккуратных бутербродика из свежей булочки, два с черной икрой и два с красной. Стоял спокойненько за столиком, цедил враспяжку пиво, жевал бутербродики с падавшими на губу икринками, которые ловко слизывал языком, наблюдал с близкого расстояния за мгновенно набежавшей километровой очередью.

Что касается премьеры, она была великолепной. Шквальной, обвальной. Встряхнула, захватила с первой сцены уставших от ожидания, перенервничавших людей. Два заговорщика: ставящий одну за другой пьесы в театрах страны, пробивной и детски беспомощный Радунский, избалованный, возносимый до небес поклонниками, ожесточившийся непониманием театральных начальников, снятием один за другим спектаклей, и малоизвестный режиссер «Современника» Валерий Фокин, принявший, к удивлению коллег, руководство труппой хромавшего на обе ноги некассового театра, рискнувший поставить во многом эпатажную, на грани скандала пьесу, взорвали в один вечер театральную Москву.

В салоне ночного самолета он заново переживал поведенную драматургом и постановщиком историю. Людей, подобных центральному персонажу пьесы Михалеву, встречал в жизни, с некоторыми был знаком, общался. Хищник-супермен с набитым кошельком, хозяин жизни. Крепко сбитый, твердо стоящий на ногах. Кичится деревенским прошлым, тем, что всего добился сам, «вот этими мозолистыми руками». Жены с руководящим папашей, дорогой машины, импортного барахла, непыльной работенки за рубежом. Циник, анекдотист, увлекающийся бегом трусцой, совращающий между делом вполне созревшую для этого, близкую по крови современную девушку без комплексов Катю, не считающуюся ни с кем и ни с чем, пробившуюся в мир михалевых ценой ненавистного, постылого замужества, смеющуюся открыто над обманываемым мужем, презирающую его.

Фокин нашел великолепный прием, придавший пьесе яркую образность и театральность: большую часть сценического времени герои бежали трусцой, в этом было и модное увлечение, и фирменный знак социальной группы михалевых и иже с ними, и сверхзадача спектакля. Новоявленные хищники бежали в никуда, действие временами замедляло ход, бегущие останавливались, оказываясь лицом к лицу со зрителем, и тут на первый план выходило великолепное литературное мастерство Радунского: хлесткие, отточенные, как бритва, диалоги, реплики, сентенции. Циничная, с атрофированной моралью четверка персонажей, включая слабого и бесхарактерного мужа Кати, пускалась во все тяжкие, говорила о вещах, которые люди редко позволяют себе даже в постели, вызвала бурную реакцию зала...

Публика замирала от реплик Инги. Когда героям спектакля, казалось, вынесен был окончательный приговор зала: один черт, не изменитесь, будете жить, как жили — со сцены слышался стон. Мольба не до конца убитой человеческой личности. Чувственной, пылкой, изломанной. Презиравшая, подобно Кате, мужа, изменявшая ему Инга мечется в тоске, бунтует против окружения и тут же ему подчиняется. Но что-то подсказывало зрителю, и это было победой исполнительницы Татьяны Дорониной: не все потеряно. Живет израненная женская душа, жаждет чистоты, лучик надежды еще не погас...

Якобинец Фокин придумал яркий финал. Четверо исполнителей: Виктор Павлов, Татьяна Доронина, Олег Меньшиков, Татьяна Догилева не выходили по окончании спектакля, как принято, на поклон к рампе — продолжали бег трусцой между рядов. Принимали на ходу цветы, бросали зрителям.

Стоя у барьерчика, аплодируя, он увидел во время очередного пробега в двух шагах от себя разгоряченное, в капельках пота, лицо Дорониной. Она выхватила из прижатого к груди букета цветок на высоком стебле, бросила в сторону ложи — он поймал на лету: это была фиолетовая калла...

Трогал пальцами в салоне ночного самолета лежавший на столике рядом с блокнотом и ручкой полузавядший цветок, думал о спектакле, о дочери, о Юлии, по которой, как ни странно, соскучился, несмотря на очередной ледниковый период в отношениях. Об Асе, о массажистке, с которой время от времени встречался, о решившем эмигрировать Боре. Посапывал рядом сосед в вельветовой куртке, ронял голову ему на колени. Спать не хотелось. Вспомнился Коктебель, писательский Дом творчества, Радунский в соломенной шляпе-канотье с шелушащимся носом, феодосийские хиппи.

Он поправил абажурчик ночника над изголовьем, снял колпачок с ручки.

«Еще одна пьеса Радунского на сцене, — писал в блокнот. — Не обличительная во все, как назовут ее, возможно, в рецензиях. Лейтмотив драмы — сто пятая страница про любовь. Обманутая, опошленная, брошенная в грязь. В жизни многие из нас часто бегут трусцой за тем, что только обозначается этим словом, по сути, им не являясь. Обольщаются, обманывают себя. А настоящая любовь, быть может, в это время в двух шагах, пробует догнать, выдыхается, отстаёт, машет беспомощно рукой. И первые на финише у километрового столбика, кажущиеся себе, как Михалев, победителями, мы оказываемся, по сути, проигравшими...»